

ВРЕМЯ *И* **МЕСТО**

Литературно-художественный
и общественно-политический журнал

Выпуск 2 (34)

Нью-Йорк, 2015

ВРЕМЯ и МЕСТО

**Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

VREMYA I MESTO

**International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary**

Copyright © 2015 Vremya i Mesto

Produced by *Shikhman Publishing*

Artwork on front cover by Mikhail Turovsky

**No part of this publication may be reproduced or
transmitted in any form or by any means – electronic,
mechanical, photocopy, or any other – except for brief
quotations in printed reviews, without prior permission
from the Publisher.**

For any information about obtaining permission to reproduce
selections from the journal, please call 718-815-5000 or send
an email to olga@flockusa.com

www.vmzhurnal.com

All rights reserved

ISBN: 978-1512092547

Printed in the United States of America

**Игорь Шихман, издатель и
главный редактор (США)**

Редакционная коллегия:

Давид Гай – зам. главного редактора (США)

Ирина Басова (Франция)

Марк Вейцман (Израиль)

Руслан Галазов (Испания)

Нина Генн (США)

Геннадий Кацов (США)

Надежда Кожевникова (США)

Давид Маркиш (Израиль)

Владимир Некляев (Беларусь)

Андрей Остальский (Англия)

Александр Половец (США)

Георгий Пряхин (Россия)

Семен Резник (США)

Михаил Румер-Зараев (Германия)

Марк Черняховский (США)

СОДЕРЖАНИЕ

<i>К ЧИТАТЕЛЯМ</i>	6
<i>ПРОЗА</i>	
ВАЛЕРИЙ БОЧКОВ	
Харон.....	8.
ИСААК ФРИДБЕРГ	
Безумие Башмакова29	29
МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	
Старая пластинка.....	107
БОРИС САНДЛЕР	
Черная тарелка.....	157
АЛЕКСАНДРА ХОДОРКОВСКАЯ	
Родительный падеж.....	170
<i>ПОЭЗИЯ</i>	
ГАРИ ЛАЙТ.....	97
ГЕННАДИЙ КАЦОВ.....	148.
КАТЯ КАПОВИЧ.....	176
МИХАЭЛЬ ШЕРБ.....	208.
ФЕЛИКС РЕЙНШТЕЙН	212
<i>ТОЧКА ЗРЕНИЯ</i>	
РОМАН СОЛОДОВ	
Человечеству нужна атомная бомба!.....	180

ВЕЧНАЯ ТЕМА

МАРК ГИНЗБУРГ

–Прости нас за то, что мы прокляли евреев”190

СУДЬБЫ

ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН

Свет издалека.....219

КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

ЗОЯ МЕЖИРОВА

Между скалами и проливом.....230

РЕМИНИСЦЕНЦИИ

ЛЕОНИД СТОНОВ

Около советских писателей – взгляд со

двора.....235

***САРКАСТИЧЕСКИ-ИРОНИЧЕСКАЯ ПРОЗА И
ПОЭЗИЯ***

АЛЕКСАНДР МАТЛИН

Обыкновенные приключения Леонида Шпульмана

в Москве.....244

АВТОР ОБЛОЖКИ

МИХАИЛ ТУРОВСКИЙ.....254.

К ЧИТАТЕЛЯМ

В прошлом номере я в своей колонке, как наши читатели, надеюсь, помнят, подумал-помечтал вот о чем применительно к нашему журналу.

Прочитую: –В доперестроечные годы большой спрос был на так называемый самиздат, на книги писателей-диссидентов, выходившие на Западе. Их стремились достать любыми способами, размножали с риском для себя, передавали для чтения. В горбачевскую перестройку и позднее все –антисоветское” было издано, перестало быть запретным плодом. Но, может быть, прежние времена возвращаются? Может быть, произведения российских авторов (именно их имею в виду), оказавшиеся под запретом на родине и в лучшем случае могущие увидеть свет лишь в интернете, а не в бумажном виде, перекочают в наши американо-русские журналы и издательства? А появившись за границей, столь же активно будут затребованы российской читающей публикой”.

Мечтать не вредно. Но, видит бог, я не ожидал, что так быстро, можно сказать, моментально мечты обретут реальные черты. В этом номере мы печатаем сразу два произведения, отвергнутые российскими журналами и издательствами ввиду их направленности. Самоцензура, продиктованная страхом, боязнью обвинения в *русофобии*, *экстремизме* и тому подобном – удел российских издателей. И вот сегодня вы можете прочитать в нашем журнале фрагмент романа Валерия Бочкова –Харон” и полностью романчик (так автор его назвал) Исаака Фридберга –Безумие Башмакова”. В первом романе без труда угадывается прообраз нынешнего правителя России, которого хотят *ликвидировать*, во втором – устами главного героя, якобы сумасшедшего, описаны условия

существования страны с зомбированным, утратившим чувство реальности населением.

Итак, лед тронулся... Уверен – в журнале “Время и место” появятся и другие произведения, отвергнутые в России.

Наше издание становится все более привлекательным для честных российских литераторов и их коллег, живущих в постсоветских республиках, у кого нет возможности, да и небезопасно (в прямом смысле слова) печатать дома слово художественной правды.

Игорь Шихман,
издатель и главный редактор

ВАЛЕРИЙ БОЧКОВ

ХАРОН
и другие мерзавцы,
которых ты встретишь
по пути в Ад

(отрывок из романа, который испугались печатать в
России)

Пролог

В четырнадцать лет я убежал из дома. Это был мой второй побег, первый раз я удирал ещё в России из Звенигородского приюта. Тогда мне только стукнуло девять, я был сопляк и дурак. Меня поймали на трети сутки на Казанском вокзале.

На этот раз я подошёл к вопросу по-взрослому. Раздобыл армейский компас, распечатал крупномасштабную карту, такую подробную, что на ней были нанесены не только грунтовые просёлки, но даже тропы, броды в реках, ручьи и источники с питьевой водой.

Из карманной мелочи и денег на кино я скопил девяносто пять долларов. В рюкзак упаковал спальный мешок на гагачьем пуху (рюкзак и спальник выцыганил на барахолке за двадцатку у одноглазого сержанта), алюминиевую флягу, пять упаковок галет с изюмом и орехами, большое красное яблоко и книжку Стругацких.

В боковой карман рюкзака спрятал нож, настоящую охотничью финку с хищными зубцами на конце лезвия и мелким, почти незаметным, но обидным клеймом «Сделано в Китае». Ножи должны производиться в Мексике, в Марокко, в Испании. В каком-нибудь Толедо, сухощавыми и загорелыми брюнетами с уверенными

пиратскими лицами. Или в Швеции среди диких фиордов и клюквенных болот. На худой конец в Финляндии, ну уж никак не в Китае.

Из Чикаго автобусом я добрался до Вирджинии, по странному совпадению я снова бежал на юг, правда, на этот раз на другом полушарии. В Ричмонде, в придорожной закусочной, мне удалось уболтать мелкую старушонку, она подбросила меня на своём розовом «плимуте» к Монтичелло. Оттуда на лесовозе, гружённом пахучими соснами, я добрался до Совиног Ручья.

Я вырос в казённых интерьерах, где стены покрашены мышинной краской, мокрой и холодной на ощупь, где чувства классифицируются по степени их рациональности, где понятие «выживание» имеет буквальное значение. Страх – деструктивная эмоция, страх мешает выживанию; не будучи смельчаком, я научился не бояться из соображений рациональности. Когда меня перевели в старшую группу, там, в Звенигороде, на той же неделе Гогу нашли повешенным в душевых. Списали как самоубийство, хотя из-под лопатки у него торчала обломанная заточка и все знали, что это заточка Хвоща. А помогали труп вешать Джуга и Дятел. Это тоже знали все. Гога один раз вступился за меня, а когда его убили, я промолчал. Я струсил и предал его из соображения рациональности. Я не рассказывал про интернат никому – ни Блейкам, ни в школе, не потому что поначалу был слаб в английском, я просто не хотел снова погружаться в ту толщу боли. Да и не понял бы никто.

Лесовоз скрылся за поворотом, я достал карту и сразу нашёл Совиный Ручей. Самого ручья видно не было, я стоял на обочине рядом с ржавым указателем, пробитым дробью как решето. Где-то надрывно звенела цикада. Солнце уже садилось, и макушки придорожных сосен затейливыми кружевами чернели на фоне розового неба. Обрывки мелких облаков плавно тянулись на восток, на миг мне показалось, что я вижу, как вращается земля – сосны, фиолетовый лес за

ними тихо прокручивались под неподвижным зефирным куполом.

Тропа шла в гору, новые кеды упруго ступали по опавшим иголкам, бурым и мягким, как медвежья шерсть. С ветки беззвучно сорвался ястреб, нырнув под сосновые лапы, свечой взмыл вверх. Я вздрогнул от неожиданности, птица едва не задела меня крылом. Где-то слева, за густым орешником, ворчал ручей. Оттуда тянуло сырым холодом.

Впереди, за чёрными стволами, открывалась поляна. На дальней опушке стоял человек в долгополом пальто, он целился из ружья в корягу. Быстро темнело, по траве полз туман, казалось, что мужчина по колено забрёл в какую-то муть. Коряга вдруг ожила, человек отпрянул. Я уже вышел на поляну и увидел, что это был волк. Его передняя лапа угодила в капкан. Зверь не скулил, молча следил за человеком, за ружьём. Я подошёл ближе. Волк поймал мой взгляд, несколько секунд глядел мне в глаза, безнадёжно и тоскливо. После обречённо отвернулся к лесу.

– Что вы делаете? Так нельзя, подождите, – остановился я и крикнул, сжав кулаки. – Нельзя!

Мужчина удивлённо повернулся.

– Поляк, что ли? – спросил он.

На нём было холщевое пальто, мятое, словно скроенное из старых мешков. В бритой угловатой голове было что-то рачье, то ли розовато-красная кожа, то ли белёсые выпуклые глаза с седыми ресницами. «Раковая шейка» – вспомнил я странное название конфет. Бровей на лице не было.

– Не поляк, – огрызнулся я. – Русский.

– Вот и ступай своей дорогой, русский.

Волк слушал, я видел настороженное ухо. Сосновый бор почернел и придвинулся, где-то за ним закатилось солнце. Небо напоследок засветилось персиковым, нежным, почти волшебным сиянием. По диагонали протянулась ртутная жилка – след самолёта.

– Ну да! Вот если бы вас так, – я зло поддёрнул рюкзак. – Безоружного...

– Как? – тихо спросил он. – Как так?

– Вот так, в упор.

Его рачье лицо отливало розоватым блеском, короткий нос, казалось, покрыт лаком. Он неожиданно улыбнулся, выставив крупные зубы.

– Тебя как звать, парень? – он приблизился ко мне почти вплотную.

– Николай.

— Ты думаешь, Николай, так легко убить? Ты думаешь – всех-то дел – курок нажать, да?

Рак был длинным малым, на голову выше меня. От него воняло сырым костром – горький, противный запах. Он сплюнул в траву.

– Мой отец говорил: каждый день ты должен кого-то убивать. Муху, крысу. Каждый день... – Рак засмеялся.

– Тогда в решающий момент рука не дрогнет. В решающий момент...

Он неожиданно протянул мне ружьё.

– На! Попробуй сам.

Ружьё оказалось старым двухзарядным «ремингтоном», увесистым, гораздо тяжелей, чем я ожидал, цевьё было тёплым и скользким от его потных рук. Мой указательный палец осторожно лёг на маслянистый курок. Мне всегда казалось, что оружие должно придавать уверенности, на деле я ощутил неудобство и растерянность.

– Приклад в плечо... Вот так...

– Знаю... — я вжал приклад в плечо. – Ну и?

Рак сделал шаг назад, неожиданно приподнял ствол «ремингтона» и упёр его себе в грудь. Я замер, хотел сглотнуть, во рту была сушь. Мой указательный палец мелко дрожал на спусковом крючке.

– Ну и? – тихо передразнил он меня. Его выпуклые глаза гипнотизировали меня, я не мог отвести взгляда от

этих водянистых, в розовых прожилках, воспалённых глаз. От белых ресниц, похожих на свиные щетинки. Мне пришла неожиданная мысль, что он альбинос.

– Ну что, Ник, – так же тихо спросил он. – Сможешь нажать курок? Или кишка тонка?

«Ремингтон» стал вдвое тяжелей. Страшно хотелось пить. Снизу, из желудка поднималась тошнотворная слабость, между лопаток скользнула щекотная капля. Если бы ствол не упирался в его грудь, у меня вряд ли хватило сил удержать ружьё.

– Вот видишь, – ласково проговорил он. – Не так это просто — убить. Навык нужен.

Левой рукой он взялся за ствол, мои пальцы разжались сами. Он ловким жестом перехватил ружьё за цевьё, уверенно прижал ствол к волчьей голове и спустил курок.

Я повернулся. Розалин резко встала с белой скамейки, за ней зеленел пышный розовый куст, с мелкими, приторно ароматными цветками. Я улыбнулся и уже хотел отпустить какую-то шутку, но она торопливо потянула меня к машине.

– Тебя ищут, – громким шёпотом сказала она, когда я захлопнул дверь.

– Я знаю, полтора миллиона на дороге не валяются. Конечно, ищут.

– Кончай хорохориться. Час назад человек меня расспрашивал, я отправила его, верней, их в сторону Мидлберри.

– Их?

– Один зашёл в ресторан. Бритый, на кабана похож. Ещё трое в машине сидели.

Я не испугался – я знал, что рано или поздно меня найдут. Морально я был готов к этому. Меня поразило, что нашли так быстро.

- Какая машина?
- Белая... – Розалин запнулась. – Легковая.
- Теперь я их узнаю сходу.

Ветровое стекло покрывалось каплями, мелкими и аккуратными, как ртуть. Пейзаж за окном тускнел и будто терял фокус, дождь сонно барабанил по крыше. Розалин взяла меня за руку, её ладонь была не просто холодной – ледяной. Я подумал, что у меня не больше часа. А, может, меньше. Может, они уже ждут меня в Медвежьем Ручье.

Я включил дворники, затормозил у ресторана. Розалин открыла дверь.

– А если в полицию... – растерянно предложила она. – Шериф Нортон...

– Нет, – мягко перебил я, сжал её кисть. – Ты ж замёрзла, вся ледяная, господи...

Притянул за плечи, прижал. Она тихо шмыгнула носом, хотела что-то сказать, по голосу я понял, что она сейчас заплачет.

– Всё будет хорошо, – прошептал я. – Всё будет просто замечательно.

– Ник...

– Мне надо спешить.

– Да-да, – она торопливо ткнулась губами в щёку, в лоб, в губы. – Да, конечно.

Вполне возможно, что это был мой последний поцелуй – невесело подумал я. Розалин хлопнула дверь, потом, вспомнив что-то застучала в стекло пальцем. Я опустил стекло.

– Я живу за Совиной горой, отсюда три мили, – она махнула куда-то на запад. – Там сгоревший амбар, потом мост через ручей, справа мельница и старое кладбище. Проехал кладбище и сразу наверх – наш дом на холме. Красная крыша.

Я кивнул, тронулся.

– Сразу за кладбищем! – крикнула она вслед.

Я воткнул вторую передачу и дал газ. Плюясь щебёнкой, выскочил на шоссе. Мокрый асфальт сиял траурным лоском, в моей голове крутилась её последняя фраза: сразу за кладбищем. Мимо с рёвом пролетел огромный трейлер, гружёный брёвнами.

– Сразу за кладбищем... – пробормотал я, выжимая педаль газа.

Джип я загнал за сарай, с дороги его видно не было. От дома тоже. Наверху, в спальне, быстро переобулся в старые чёрные кроссовки, натянул свитер и куртку. Рассовал по карманам запасные обоймы. По две в карман, застегнул. Карманы на «молнии» – очень полезное изобретение. Проверил «глок», – передёрнув затвор, нажал курок – боёк звонко щёлкнул. Вставил обойму. Сунул пистолет за пояс.

Справа от сарая были сложены дрова, очевидно, очень давно – поленница просела и обросла мхом, кое-где из мха рос ярко зелёный папоротник, краснели ягоды брусники. Сразу за дровами начинался лес. Я перелез через поваленную сосну, отсюда хорошо был виден подъезд к дому, часть дороги и крыльцо. Из-под ног выпорхнула иволга, сердито уселась на ветку орешника прямо надо мной и принялась громко ругаться.

Гости появились через семнадцать минут – по привычке я вёл хронометраж. Белая легковая машина оказалась «бентли-империалом» с нью-йоркскими номерами. Глупость, конечно, но мне стало лестно, что убивать меня приехали на таком шикарном авто.

Я присел, снял пистолет с предохранителя. Дождь, похоже, потихоньку заканчивался, последние капли шуршали в листве тихо и настороженно, будто перешёптываясь. Лес вокруг был тёмным, мокрым. Монотонно пела река. Я зачем-то провёл ладонью по мху, нежному, как влажный бархат. Иволга замолчала, но не улетела, сидела наверху, хитро поглядывая на меня чёрным глазом. Я, заискивая, подмигнул ей, приложил

палец к губам. Мерзавка насмешливо свистнула и, словно издеваясь, выдала звонкую трель.

Передняя дверь «бентли» распахнулась, из машины вылез крепкий мужик с бритой головой. Точно, кабан. Грузно поднялся по ступеням, постучал в дверь. Прислушался, постучал ещё раз – громче. Прошёлся по крыльцу, пнул ногой ведро, ведро с грохотом покатилося по доскам веранды. Мужик помаялся ещё с минуту, бродя взад и вперёд, напоследок двинул в дверь башмаком, вернулся к машине. Окно задней двери опустилось на четверть, кто-то выдул оттуда тонкую струю дыма. Кабан подошёл, пригнулся. Я услышал голос, но слов не разобрал. Кабан кивнул, услужливо раскрыл дверь.

Я рассчитывал на шаха, ожидал бородатого эмира, на худой конец главаря банды абреков с тупорылым десантным «калашниковым» и зелёной драпировкой, на фоне которой мне должны были отрезать голову.

Из машины вышла женщина. Она выпрямила спину, огляделась, уронила сигаретный окурочок в траву. Иволга над моей головой пронзительно просвистела.

– Мистер Саммерс! – женщина повернулась спиной к дому и в профиль ко мне. – Кончайте прятаться. У меня к вам дело.

Голос прозвучал уверенно, чуть насмешливо, сидеть за дровами мне показалось глупо и унижительно. Сунув пистолет в левый карман куртки, я неспешно выбрался из укрытия.

– Вот вы где! – женщина засмеялась, потом закашлялась – курить ей явно нужно было завязывать. – В лесу гуляете?

Моя левая рука лежала в кармане, я вспомнил, что куртку мне эту подарила Хелью на Рождество лет пять назад. Очень не хотелось её дырять.

– Пусть этот сядет в машину, – я указал подбородком на кабана.

Женщина кивнула. Кабан зыркнул на меня, забрался на переднее сиденье, хлопнул дверью.

– Ну? – она вопросительно посмотрела. – Может, в дом пригласите?

Я не мастак определять женский возраст, сидя за дровами, я решил, что ей лет тридцать пять-сорок, вблизи она выглядела куда как старше – явно за полтинник. Особенно руки. Худые, костистые, с длинными перламутровыми ногтями, они казались руками породистой старухи.

– Прощу! – я церемонно пропустил её вперёд.

Пройдя в гостиную, она оглядела коллекцию мёртвых голов, хмыкнула, села в кресло. Закурила, чиркнув кокетливой дамской зажигалкой. Я взял стул за спинку, поставил перед креслом. Сел, левый кулак горел, рукоять пистолета была как утюг. Часы на стене показывали два по полудню, они отставали на семь минут.

– Я хочу нанять вас, мистер Саммерс, – она стряхнула пепел на пол. – Возглавить один проект.

Я посмотрел на пепел, потом ей в лицо.

– А если откажусь? – глядя прямо в глаза, спросил я.

Она усмехнулась, выпустила дым.

– А вот такой возможности у вас нет, – она насмешливо покачала головой, добавила пренебрежительно. – И вытащите этот дурацкий пистолет из кармана, никто вас тут убивать не собирается.

– А если я откажусь, – упрямо повторил я, опустив на этот раз знак вопроса.

На её лице, «со следами былой красоты» – как писали в старых романах (быть может пишут и сейчас – я беллетристику не читаю), – появилось недоброе выражение: глаза стали холодными, губы поджалась. Она щелчком отправила окуроч в камин, тихо и зло сказала:

– У меня нет времени валять дурака.

Достала из кармана и протянула мне сложенный листок бумаги. Я развернул – это был калифорнийский адрес Хелью, адрес, который не знал никто, кроме меня. – И давайте, мистер Саммерс, на этом закончим наш драмкружок и перейдём к делу. Идёт?

У неё был добротный британский акцент, лондонский – так говорят в Челси и Кенсингтоне, на Найтс-Бридж. Долгая шея, крутой, высокий лоб и вполне мужской подбородок, она напоминала борзую, но не выставочную – хрупкую, фарфоровую, а матёрую, охотничью, какая запросто может затравить волка.

– Начнём с приятного, – сказала она. – Ваш гонорар, мистер Саммерс, составит тридцать миллионов американских долларов.

Я почти раскрыл рот, меня поразила даже не сама сумма – в этот момент я чётко осознал две вещи: дело предстоит определённно гнусное – это во-первых, а во-вторых, в конце операции меня скорее всего постараются ликвидировать.

– И что же от меня требуется? – голос у меня чуть осип, я прокашлялся. – Украсть Биг-Бен? Поднять мятеж в Шотландии? Свергнуть королеву Елизавету и передать власть в руки трудящихся Великобритании?

– Мне нравится направление вашей мысли, – она запнулась, разглядывая носорожью голову под потолком. – Господи, ну и страшилище... Вы, оказывается, и на зверей тоже охотитесь?

– И на них тоже. Не отвлекайтесь от темы, пожалуйста.

– Да-да, конечно. Назовём акцию, к примеру, так – «Стремительная операция по устранению одного важного человека».

– Стремительная? – я хмыкнул.

– Удар кинжалом, – она сделала острый жест рукой. – Знаете, у марокканских бандитов есть такой удар, «бабочка» называется. Бьют клинком вот сюда, – она

ткнула пальцем в основание своей шеи. – Тут вот ямочка, видите?

Я кивнул, мол, вижу. Меня удивил круг её интересов.

– «Бабочка», – задумчиво повторила она, потом оживилась и деловито продолжила. – Я предоставлю вам всю необходимую информацию, вы разработаете план, мы его обсудим и утвердим. Закупим оборудование и снаряжение – ну вы там знаете, что понадобится, все эти ваши штуки, инструменты и оборудование... – сказала она небрежно, словно речь шла о ремонте водопровода.

Она встала, прошла назад и вперёд, взяла со стола колоду карт.

– Подберём вам толковых помощников, вы сами решите – сколько и какой квалификации. Организуем тренировочную базу...

– Погодите, – я тоже встал. – В чём моя функция?

– Ваша функция? – она всерьёз удивилась. – Вы что, меня разыгрываете? У вас одна функция, одна! Переправлять конкретных людей из этого мира в мир иной. Как у Харона. Вы Данте читали? Или хотя бы «Мифы древней Греции».

– Читал, – огрызнулся я. – В приюте.

– Ну вот и отлично.

– Пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь, но вы всерьёз хотите чтобы я организовал покушение на какого-то...

– Не ошибаетесь, – ласково перебила она меня. – Именно так.

Она ловко перетасовала карты, развернув веером, вытащила одну.

– И кого же мы собираемся... – я мотнул головой в сторону двери. – Переправить через Стикс?

– А вот его, – она положила карту на стол.

Это был король пик.

– А имя у него... – начал я, но она быстро приложила палец к моим губам.

– Никаких имён, – прошептала она. – Никаких имён. Мы будем звать его Тихий.

Она щёлкнула ногтём по карте.

– Просто Тихий. Понятно?

Я кивнул. Она взяла карту, разглядывая, приблизилась к окну. Снаружи распогодилось, там всюду голосили птицы. Лучи пробивались сквозь листву, кружевные солнечные пятна сонно ползали по пыльному стеклу. Окно стало похоже на витраж.

– А страна? – спросил я. – Или тоже секрет...

– Ну почему... – она задумчиво разорвала короля пик пополам, сложила и порвала ещё раз. Подошла к камину, выбросила обрывки в золу. Повернулась ко мне.

– Кстати, как у вас с родным языком? – спросила она на чистом русском. – Не забыли, Николай?

У неё были на редкость маленькие уши, совсем кукольные. Бледные, без серёжек, они выглядели ушами ребёнка, почти младенца.

– Да, – словно вспомнив, добавила она. – Меня зовут Анна Кирилловна. Зовите меня Анной.

Она выставила острую ладонь, мне не оставалось ничего другого – я пожал её.

Тихий родился на безнадёжной рабочей окраине в семье тюремного охранника. Рос в промозглом бараке, стоявшем среди других, таких же кособоких хибар. Рядом чернел тухлый пруд, где хозяйки топили слепых котят. Вокруг – канавы с мутной водой, чавкающая грязь, мусорные кучи. В отдалении дымили какие-то кирпичные трубы, дождь, казалось моросил и днём и ночью – так, по крайней мере, ему вспоминалось.

Вспоминались пустыри, заросшие лопухами, там они дрались с пацанами из Ляврино, там же, на пустыре за

кладбищем, его поймал и изнасиловал одноглазый бродяга, из церковных бомжей. Бомжи эти жили в заброшенной церкви, местные так их и звали «церковные». О них ходили жуткие слухи, говорили, что они воруют детей. Действительно, в конце марта, когда наконец сошёл снег, в Сивой балке нашли два мелких черепа и детские кости, завернутые в мешковину. Приезжала районная милиция, пузатый полковник вылез из «волги», долго бродил среди чахлах осин. Он курил и громко материл понурых ментов, молча сопровождавших его.

Тихий часто болел, не вылезал из ангин, в школу под серый форменный пиджак мать напяливала на него свою старую кофту – он по дороге стаскивал её и прятал в портфель. В классе его дразнили Рыбой за вялость и бледность, на физкультуре он стоял в самом конце шеренги, ниже был только Петриков – рахитичный сын школьной уборщицы-алкоголички и неизвестного отца. Изнурённый простудами и онанизмом, – он рукоблудил даже на уроках, сидя в углу, на задней парте и жадно впиваясь взглядом в спину и толстую косу Нинки Рамазановой, бойкой отличницы и старосты класса, иногда из жалости дававшей ему списывать математику, – Тихий был страшно одинок. Ничтожный Петриков был не в счёт, тем более что в девятом классе он попал под товарняк, который вёз торф из Дзержинска. Уборщица той же ночью повесилась в школьной кладовке. Тихий первым нашёл её – он не убежал, а замер и с жутью разглядывал её грязные босые ноги в полуметре над полом и тёмную лужу на кафеле прямо под ней. «Она обоссалась, представляешь?» – потом сказал он Хетагурову по кличке Лось. Лось, не говоря ни слова, двинул ему в челюсть.

Так Хетагуров стал номером семнадцать в списке Тихого, чёрном списке мести. В этот список угодила соседка по бараку тётя Зоя, надравшая ему уши за издевательство над котом, там была безымянная билетёрша из клуба, не пустившая Тихого на «Анжелику»,

математичка Татьяна Ивановна, хромой физрук Заславский, шесть человек из его девятого «А» и ещё два «бэшника», избившие Тихого прошлой зимой за сараями.

– Он не забыл и не простил никого. Никого! – Анна придушила окурок в блюдце и тут же достала новую сигарету. – Ни одного человека! Некоторым повезло – они умерли до того, как Тихий попал наверх.

– Вы не утрируете? – я иронично посмотрел на неё.

Она фыркнула, не ответив, прикурила, выпустила тонкую струю дыма в потолок.

Тихому удалось поступить в Политехнический со второго захода. После зимней сессии его пригласили в главный корпус, где вкрадчивый плотный человек в коричневом костюме с широкими лацканами по тогдашней моде, предложил ему стать стукачом. Тихий тут же согласился.

На курсе его не замечали – студенты считали его подлизой и ничтожеством, преподаватели – услужливым, но туповатым провинциалом. Одевался он бедно: две рубашки – одна белая, другая ковбойка в клетку, он их стирал и сушил на батарее в общежитии, отцовский пиджак, рябое кургузое пальто, которое он носил ещё в восьмом классе, похожее на кулацкую куцавейку.

Он так и не вырос, опять был ниже всех, если не считать Мишки Шабады, чернявого коротышки, почти карлика. Но у Мишки отец работал на овощной базе, Мишка ходил в настоящих джинсах и канадской дублёнке. У Мишки были деньги, он щедро покупал портвейн «Южный» и «Кубанскую» водку, угощал всех подряд разливным «жигулёвским» в соседнем «Сайгоне». Мишку любили, он постоянно балагурил, травил анекдоты, очень похоже изображал Брежнева – даже девицы находили его занятным и иногда давали ему. Тихий так и оставался девственником, одноглазого бомжа он старался забыть, неуклюжие эксперименты с покойным Петриковым за сараями тоже в счёт не шли.

Шабада исключили после второго курса. Он так никогда и не узнал, что виной тому был тщедушный, неприметный юноша с узким прыщеватым лицом и мутными глазами хворой собаки. Тихий чуть на сошёл с ума от радости – ему было плевать на Шабада, он решил, что стал обладателем волшебной силы, безотказной и мощной, а главное, безграничной.

Впрочем, тут он ошибался. Когда в конце февраля простуженный Тихий принёс своему куратору Потапову рапорт на Вику Кузнецову, которая месяц назад отвергла его ухаживания, заявив, что скорей отдастся вдовому дикообразу, чем будет спать с Тихим, майор Потапов внимательно прочитал донос, порвал его, а мелкие обрывки, смяв в тугой комок, спрятал в карман. «Ты знаешь, кто батяня у этой манды? – тихо спросил он. – От нас мокрого места не останется. Ни от тебя, ни от меня. Усёк, студент?»

Тихий усёк. Волшебная сила требовала чуткости и аккуратности в обращении. Он снова ступал на цыпочках, снова стал невидимкой. Аккуратно выбирал жертвы.

Профессор Селезнёв пожалел его, Тихий, давая на жалость, прикинулся сиротой, рассказывал о лишениях безрадостного детства в рабочем посёлке в семье дальней родственницы по отцовской линии. Про тёмный от копоти туман, червивые огороды, кислую капустную вонь. Профессор пригласил его в дом. Потом ещё раз, они пили болгарский коньяк и рассуждали о политике. Селезнёв дал ему перепечатку «Архипелага», а потом и Зиновьева. Тихий знал – это уже статья, это не только пинок под зад с кафедры, это срок, это лагерь. Но к Потапову он не пошёл.

Он стал хитрей, терпеливей, он научился просчитывать на несколько ходов вперёд. Он научился выжидать. В конце зимней сессии Тихий подкараулил профессора у факультета. Был январь, валил крупный снег. Темнело рано, уже горели жёлтые расплывчатые фонари вдоль синей аллеи. Здание факультета – скучная

пятиэтажка из красного кирпича, с белыми колоннами и гипсовыми барельефами то ли писателей, то ли учёных по фронтону, казалось седым от инея. Тихий нагнал профессора у остановки трамвая. Не скрывая ничего, он рассказал Селезнёву про майора Потапова, рассказал, что вот уже ровно четыре года, как он является осведомителем, что его там ценят, ему там доверяют. Говоря «там», Тихий тыкал пальцем в небо, откуда медленно сыпался мохнатый снег. Вместе со снегом опускалась ватная тишь, сонная, рождественская, лишь вдалеке, за казармами, едва слышно позвякивали заплутавшие трамваи.

«Вы мне всё равно, что отец» – не очень убедительно пробормотал Тихий. – «Не могу я на вас рапорт писать».

Профессор Селезнёв этого не забыл. В смутные времена он неожиданно оказался на гребне, его вынесло в либеральные идеологии – сперва экспертом по социологии, потом, неожиданно для себя самого, он стал консультантом по экономическим вопросам. Толковые экономисты были нужны позарез – начиналась приватизация страны.

Была пятница, часы отзвонили семь, спустя двенадцать лет Тихий снова появился в профессорской квартире на набережной.

«Отлично выглядишь! – соврал профессор. – «Возмужал, подрос даже».

Тихий теперь всегда носил ботинки на толстой подошве, добавлял себе пару-тройку сантиметров. Он сидел на сумрачной кухне, обжигаясь чаем, жаловался: «Всё просрали, Анатолий Константинович, всё на свете!» Последние семь лет он болтался по Пруссии, занимаясь какими-то закупками для армии, пока наконец прошлым апрелем не выцыганил себе место в Берлинском торгпредстве. Его свели с ребятами из Бреста, он сам вышел на «долгопрудских», договорился. Погнал через

границу старые «мерсы» и «ауди». В августе нашёл толковых поляков, у самой границы организовал гараж, где перебивали номера. Угоняли только новые, дорогие модели. Наконец начали появляться настоящие деньги.

«Ведь только-только всё наладилось! – хриплым тенором восклицал он. Профессор подливал чаю, ласково кивал.

На следующей неделе он назначил Тихого своим референтом.

– Первый раз я увидела его в Барвихе, на даче, – Анна, припоминая, задумчиво посмотрела вверх. – Наверняка, там. В Барвихе у нас было что-то вроде штаба. Иногда мы там застревали на несколько суток, времена наступали буйные и промедление, как нас учил классик, могло быть смерти подобно.

Тихий появился вместе с Селезнёвым, молча стоял за его спиной, прижимая к груди блестящую папку из фальшивого крокодила. Рыжий его сразу так и прозвал – Папкин. Голоса Папкина никто не слышал, его мнение никого не интересовало, он снова стал человек-невидимка, человек-тень.

– Там в гостиной, на столе, у нас была развёрнута карта, старая, ещё совковая, со всеми республиками, округами. Красным фломастером были обведены нефтяные и газовые разработки, крупные металлургические комбинаты, алюминиевые, алмазные рудники, угольные шахты, военные заводы – короче, все богатства Страны Советов. Мы спорили, ругались, балагурили – так за чаем, кофе, водкой кто-то становился хозяином Сибири, кто-то никельным бароном, кому-то доставалась медь, кому-то Каспийская флотилия. Это было похоже на игру, увлекательную, волшебную игру от которой захватывало дух. И только Папкин, которого в игру не взяли, стоял в стороне со своей дерматиновой

папкой, жалкий, с водянистыми глазами и скверными волосами мышиного цвета, старался делать вид, что происходящее его не интересует. Думаю, именно тогда он и начал составлять новый чёрный список. И мы все угодили туда. Все до единого.

Анна замолчала, разглядывая свои руки. Я тоже молчал. Где-то лениво билась о стекло большая муха.

– Где тут уборная? – вдруг спросила она, вставая.

– Левая дверь, – я махнул рукой в сторону коридора.

Она хлопнула дверью, потом я услышал звонкую, тугую струю, бьющую в унитаз. После весёлым водопадом прококотал бачок.

– Полотенце чистое есть? – брезгливо отряхивая мокрые кисти, спросила она. – Чистое полотенце у тебя есть?

– А что, мы уже на ты? – я протянул ей бумажную салфетку.

Она тщательно вытерла руки, скомкала мокрую салфетку, бросила на стол.

– Не умничай только, ладно?

Достала из кармана телефон. Нажала кнопку.

– Портфель принеси, – сказала в трубку.

Появился Кабан с плоским чемоданом. Аккуратно пристроил его на стол и удалился. Анна щёлкнула замками.

– Тут ноутбук, в файле вся информация по Тихому. Вся, какая у меня есть. Вот тебе телефон, – она достала мобильник. – На первой кнопке мой номер.

– Сигнала тут нет... – начал я.

– У кого надо – всё есть. У нас свой спутник. Так что звони и вообще ни в чём себе не отказывай.

Она засмеялась.

– Послушай, Аня, – я быстро встал, сжал кулаки. – Может, у тебя и есть спутник...

Она удивлённо вскинула брови, тоже встала.

– Да! Ну есть! – она вплотную подошла ко мне. – А у тебя что есть? Кроме кулаков и вот этого... – Она положила ладонь на мою мошонку и чуть сжала.

Она насмешливо смотрела мне в глаза, от неё воняло сигаретами и какой-то сладкой парфюмерией. Я застыл, не зная, что делать – не бить же её в самом деле.

– Вообще-то я баба добрая, – тихо добавила она. – Только нервная. Поэтому ты лучше меня не зли. Коля. А главное, про семью не забывай. Про ребяташек.

Она ушла. Первым делом я налил полстакана бурбона и залпом выпил. Вселенная медленно и неохотно начала приходить в порядок. Я добавил ещё. Раскрыл ноутбук. На десктопе, изображавшим сиреневую ночь с невразумительными созвездиями, в самом углу притаилась одинокая безымянная папка. Я навёл курсор и кликнул. Внутри находилась дюжина других папок с названиями – «дача_рублёвк», «дача_байкал», «дача_сочи», «дача_капри», «кремль», «маршруты» и каким-то совсем загадочными «кр_мал» и «др». Меня сильно подмывало ткнуть в «оргии», но я, проявив силу воли, открыл папку «фото». Там, как я и ожидал, были фотографии Тихого.

От давних снимков, мутных и серых, напоминавших обрывки какого-то тревожного сна – вот их класс в физкультурном зале школы, вот субботник, вот что-то зимнее, – до нынешних, совсем недавних, вылизанных до звона в «фотошопе», с умелым светом и грамотными тенями. Вот Тихий в белом кителе с маршалскими звёздами, вот он на танке, а вот на коне, тут он в уссурийской тайге охотится на уссурийского тигра. Вот он после возвращения с орбиты, улыбается, держит под мышкой космический шлем (эта история с полётом была такой липой, что наши новостные каналы даже стеснялись о ней говорить). На следующем фото Тихий сидел за роялем, из подписи следовало, что он исполняет Первый концерт Чайковского в сопровождении Государственного Симфонического оркестра.

Я наливался бурбоном, вместе с алкоголем меня наполняло ощущение мутного безумия, словно реальность сместилась и я очутился в нелепом кошмаре, гнусном и унижительном. Поверить, что всё это происходит сейчас и происходит на самом деле, я был просто не в состоянии. Тихий с годами стал внушительней, даже мужественней – хирурги утяжелили безвольный подбородок, что-то сделали с надбровными дугами. Исчезла ватная припухлость, пропали мешки под глазами, контур лица обрёл уверенность. Теперь он охотно демонстрировал накаченный анаболиками торс и розовые гуттаперчевые бицепсы – вот он яростным «баттерфляем» пересекает неизвестную водную преграду, вот он крадётся с ружьём, изображая то ли Виннету, то ли югославского актёра Гойко Митича – кумира своего сирого детства.

Я дотянулся до бутылки, отвинтив крышку, сделал большой глоток. Кликнул следующий файл. Это был плакат: Тихий, со строгим рыбьим лицом, крестился на фоне какого-то златоглавого капища, сверху славянской вязью было выведено: «С нами Бог!». Под фотографией я прочёл: «В следующем году РПЦ планирует объявить реставрацию самодержавия». Дальше шла ссылка на статью, из которой следовало, что Тихий является прямым наследником семьи Романовых.

Хлопнув крышкой ноутбука, я вывалился на крыльцо. Оказывается, уже наступила ночь. Доски веранды коварно качнулись подо мной, но я всё же удержался на ногах, ухватившись за перила.

Надо мной висело небо, чёрное бархатное бездонное небо. Я уставился на звёзды и как зачарованный, наощупь, спустился по ступенькам. Сделал несколько шагов в сторону леса и остановился в изумлении. Да, я был пьян. Но то что я увидел потрясло меня. Сперва, пока глаза не привыкли к темноте, я разглядел лишь самые яркие звёзды – прямо надо мной висел Орион, три ярких точки на поясе, кулак правой руки

вскинут вверх – синеватая Бетелгейзе. К северу, над плоскими силуэтами ёлок, висел ковш Большой Медведицы. Малая Медведица пряталась за горой.

До меня доносился шум реки, вода катила по камням, уверенно и спокойно. Я сделал ещё шаг, оступился, под каблуком хрустнула шишка. Неожиданно, словно кто-то поправил фокус и надо мной распахнулась, раскрылась страшная бездна. Я даже присел – прямо над моей головой с угрожающей торжественностью проступил Млечный путь.

– Господи, – пробормотал я. – Господи, что всё это значит? В чём смысл?

За рекой завыл койот, жутко, протяжно. Даже если ты знаешь, что это всего лишь дикая собака, а не вурдалак, что мается в поисках тёплой крови, всё равно становится не по себе.

***Валерий Бочков** – член американского ПЕН-Клуба. Лауреат —Русской Премии” 2014 года в категории —Крупная Проза” (роман «К югу от Вирджинии»).*

Лауреат Литературной Премии 2012 издательства «ZA-ZA Verlag» (Германия, Дюссельдорф) в номинации «Малая Проза». Публикуется в литературных журналах.

Окончил художественно-графический ф-т МГПИИ в Москве. С 2000 года живёт и работает в Вашингтоне.

Профессиональный художник, более десяти персональных выставок в Европе и США. В полиграфии представлен агентством "Donna Rosen". Среди клиентов основные периодические издания США и Европы, Национальная Опера, Конгресс США. Автор международного проекта —New World Money” (—Новые Деньги Мира”). Основатель и креативный директор "The Val Bochkov Studio" – творческой студии, сотрудничающей в сфере визуальной коммуникации с ведущими рекламными и PR-агентствами США.

ИСААК ФРИДБЕРГ

БЕЗУМИЕ БАШМАКОВЕРА

Романчик

Опыт весеннего литературного обострения.

Глава 0.

Гражданин Башмаковер живет на пенсию, подрабатывает контролером-билетером в Доме культуры. Любит Гоголя и итальянскую оперу. До выхода на пенсию работал библиотекарем. Пенсии обрадовался, потому что пенсия (4800 рублей) оказалась больше его прежней зарплаты (4600 рублей).

Иногда Башмаковер сам себе снится, тогда он себя теряет и долго не может найти, проснувшись. Иногда, отыскав себя, Башмаковер сомневается в собственной материальности, ему кажется, что он умеет летать: взлететь как бы ничего не стоит, надо лишь побыстрее разогнаться.

Иногда взлететь действительно удастся, полет кажется прекрасным, удивительным, полным красот и вождлений, но довольно быстро Башмаковера охватывает ужас – при мысли о приземлении. Ибо приземляться его никто не учил, и совершенно непонятно, как превратить падение в плавную глissаду, меняя смысл происходящего. Спасение имеется, надо договориться со своей головой, доказать ей, что полет существует исключительно в голове и ничем не угрожает другим частям тела.

Договариваться не просто. Погасить воображаемый экран удастся, выплеснув на него бочку торопливого отчаяния, экран гаснет, прячется в темноте, но какие-то пугающие звуки еще долго доносятся из черных закоулков...

Глава 1.

В зале суда хорошо. В зале суда просторно и пахнет воздухом, а не мочой. Но попасть в зал суда удастся ценой избранных мучений. Сначала Башмакова держат в железной камере, похожей на шкаф. Шкафы для подсудимых устроены в подвале, под залом судебных заседаний. Туда надо приехать в другой железной коробке, именуемой автозак. Железная коробка решетками разделена на секции, где ни выпрямиться, ни разогнуться, ни выдохнуть, ни вдохнуть. Коробка на колесах долго петляет по городу, видимо замечает следы. А уж в коробку попадаешь из тюремной камеры, где бывшие люди источают всевозможные ароматы двадцать четыре часа в сутки. Там жарко, потно, гнойно, а сама камера представляет собой примитивный сортир, о чем принято выражаться уклончиво. Типа того, что есть *камера*, и есть *параши*. И это, вроде бы разные субстанции. На самом деле субстанции вложены одна в другую, как фигуры матрешки. Тюремная матрешка построена специально для бывших людей. Бывший человек месяцы и годы живет там, где испражняется. Пьет, ест, спит и мечтает о женщине рядом с говномочевой посудой, в туманных испарениях. Аминь.

Поэтому в зале судебного заседания – хорошо. Много воздуха и даже пахнет дешевыми духами от секретарши суда.

Остаться навечно в том прекрасном и яростном мире не получится. Потому что откроется занавес. Секретарша суда объявит громким полусорванным голосом: «*Встать, суд идет!*». Голос материализуется в триаду черных мантий. Тройка вынесет решение, как и было сказано.

Судебный планктон, состоящий из прокуроров, адвокатов и их многочисленных помощников, расплзётся по офисной мебели. *Главный судья, жирный, лоснящийся*

от водки и крабов, пропоеет финальное: *«Гражданин подсудимый! Вам предоставляется последнее слово. Будете говорить?»*

Глава 2.

Конечно-конечно, гражданин судья... Мне давно хочется поговорить. Вы наверно не знаете, как это трудно... Когда хочется с кем-то поговорить, а совершенно не с кем. Дома ты один. Совсем один. Выйдешь на улицу, а там... извините, там одни сумасшедшие. Психопат на психопате сидит и шизофреником погоняет.

Подойдешь к человеку. Просто так, типа, здравствуйте, разрешите обратиться. Одинокий пенсионер желает познакомиться, уделите три минуты жизни. Не пробовали, граждане судьи? Попробуйте. Весьма поучительное занятие. У нас такой одаренный народ! Так изобретательно посылают. Прямо в генитальные места нашей великой родины. А родина у нас большая, генитальные места у нее вместительные. Тысячи лет граждане и гражданки гуртом туда ходят, и всем хватает места.

Важно отметить: родина у нас добрая – те, кого посылают, могут вернуться обратно. Правда, ненадолго. До следующего раза. У нас часто посылают. Некоторые, чтоб не мучиться, остаются там навсегда. Граждане судьи. Меня за мою жизнь посылали примерно сорок тысяч раз. Возвращаться трудно. Но я каждый раз возвращался. Обратная дорога занимает около недели. День вспоминаешь, как тебя послали. День фантазируешь, что бы ты мог ответить. Еще день думаешь, а почему ты не ответил? Весь четвертый день торжественно клянешься, что обязательно ответишь, если тебя еще раз пошлют. На пятый день событие само собой уменьшается в размерах. На шестой день оно подвергается философскому осмыслению. На седьмой день покупаешь резиновые

сапоги и идешь домой. Резиновые сапоги нужны, чтобы не утонуть в дерьме.

Слава богу, сапоги всегда в продаже, даже в трудные времена: родина заботится о нас! Иногда говорят: «Жизнь проходит мимо». Дурацкая фраза. Жизнь никогда не проходит мимо. Она всегда попадает в цель. Ее цель – наше сердце. Чтобы понять это, надо упасть на тротуар. Лежишь, смотришь собачьими глазами: эй, кто-нибудь... Не дают ответа. Пробегают мимо, как птицы-тройки... Как это случилось, почему случилось?...

Все сошли с ума. Да-да. Я думаю здесь, в суде, это особенно заметно. Я не вас имею в виду, граждане судьи. Уж кто-кто, а вы – в полном порядке! Любуюсь вами, честное слово. Целомудренные, принципиальные, неподкупные. Наш суд – остров целомудрия в океане порнографии. Сострадаете невинным! Караете виновных! Каждый день судите грешников! Ежечасно, ежеминутно созерцаете их, какая ужасная работа. Но зато вы точно знаете, как из грешника сделать ангела с помощью брезентовых рукавиц! Bravo, граждане судьи. К вам обращаюсь я. Потому что кроме вас мне обратиться не к кому. Где еще человека внимательно выслушают? И даже посадят в клетку, чтобы никто не мешал говорить?

Вот вы сказали, что я изготовил и пытался сбывать фальшивые деньги. То есть, не вы сказали, а товарищ прокурор сказал. А вы ему поверили, по глазам вижу.

Глава 3.

Кстати о деньгах. Я очень обрадовался, когда вышел на пенсию. Потому что пенсия у меня четыре тысячи восемьсот, а зарплата была четыре тысячи шестьсот. Ну, вы знаете, я в библиотеке работал, обыкновенная провинциальная библиотека, там четыре шестьсот. Таких библиотек миллион, их давно пора закрыть, потому что никто ничего не читает, кроме

детективов. Но почему-то не закрывают. Сохраняют такие коровьи лепешки культуры.

Уточню для иностранцев: я получаю пенсию рублями, а не долларами. В нашей библиотеке долларов отродясь никто не видел, гражданин судья. На мою зарплату можно скромно прожить шесть дней. Или семь. Сильно ужавшись – девять. Но никто не запрещает библиотекарю держать корову. И курей. Так что прожить можно, если с огородом.

А вот в пятиэтажной хрущобе... Я пытался теленочка на балконе выращивать! Честное слово пытался! Но балкончики у нас такие маленькие. Теленок подрос, ему железные прутья стали давить на ребра. Он замычал. Я его хотел на улицу вывести. Но он уже в балконную дверь не пролез. Понимаете? У нас не только балконы маленькие, у нас еще и двери узкие. Сосед, потомственный шизофреник, ночью бабахнул в моего теленочка из двух стволов. Чтобы спать не мешал. Сосед только по ночам нервный, утром он хороший. Пришел утром, спрашивает: телятину с балкона убрать? За десять килограммов парного мяса подогнал подъемный кран. Тут набежали: милиция, санэпидстанция, пожарные, ДЭЗ. Специалисты по парной телятине. Дорожная полиция – как же без них – подъемный кран стоит на газоне, нарушение. Ну, вы их знаете. Берут всё, от литров до килограммов. Короче, когда все разъехались, на балконе остались уши и хвост. Я из них суп сварил.

Не волнуйтесь, граждане судьи, я знаю, что у вас еще два убийства и три изнасилования. Укорачиваюсь, граждане судьи.

Почему я заговорил о пенсии? Государственные служащие не могут трудиться на двух работах, закон запрещает. Поэтому несчастным чиновникам приходится воровать и даже брать взятки. А пенсионер может подрабатывать! Наше государство дает любому пенсионеру возможность разбогатеть! Не хотят! Тяжелое

генетическое заболевание: бывший советский человек презирает деньги. Страна шизофреников, я уже говорил. Дохнут с голоду на пенсии, жалуются, что лекарства дорогие! А кто тебе мешает немного подработать?

Ах, ты больной? Если не будешь работать, думаешь тебя вылечат?

Я не жаловался, я устроился контролером-билетером в наш Дом-дворец культуры, четыре тысячи на бумаге, три тысячи пятьсот восемьдесят рублей на руки. Три пишем, ноль на ум пошло – получатся восемь тысяч триста восемьдесят рубликов! Восемь! И триста восемьдесят! Загляденье, живи – не хочу.

Да еще работа в радость: каждый день бесплатный концерт или спектакль! Людям помогаешь.

Глава 4.

Люди у нас приятные во всех отношениях. Драки случаются редко, к нам пьяные не ходят. Ну, разве что кто-то на месте, в буфете, наклюкается. А ему бац – два билета на одно место. Типа «ваше место на помойке, чего приперлись, валите нахрен». Тут, конечно, сразу в морду. Я такой мордобой уважаю. Надо различать мордобой на футболе и мордобой в театре. Мордобой в театре – это культурный мордобой. Подхожу, успокаиваю, уточняю: кого в реанимацию, кого в милицию.

Кризис-менеджер. Разруливая кризис, главное – самому не получить по сопатке. А так – прекрасная работа.

Да-да, граждане судьи, перехожу к делу. На спектакле все и началось. Приехала к нам в городок московская антреприза. «Король Лир», трагедия Шекспира в пяти действиях.

Ну, сейчас пять действий никто смотреть не будет, сейчас за два часа надо успеть. А лучше – за полтора. Полтора часа, граждане судьи – идеальное время, две серии по сорок пять минут. Сериалы – как вы знаете,

новое средство лечения шизофрении. Ежедневная дармовая инъекция. Уколотся, забылся, расчехлил жену и лег спать счастливый.

Диагноз такой появился: шизофреник на сериале. Позитивный диагноз, кстати, человек забывает о реальной жизни и перестает ее бояться.

Наилучший оздоровительный эффект дают две серии подряд. Теперь так часто показывают, вы знаете. Приучают народ, чтобы потом уже четыре подряд смотреть. Четыре подряд – важная государственная задача. Человек начинает разговаривать с телевизором, не может от него отойти. Даже, когда беспокоят позывы в туалет. А главное – не выходит на улицу. Никаких блевотных площадей и прочих психических отклонений. Короче, идеальный спектакль – полтора часа! Теперь все укладываются в полтора часа! Шекспир, Чехов, Еврипид, Лопе де Вега. Без вопросов. Хорошего писателя всегда можно укоротить до двух серий. Кого нельзя – тот не писатель!

Глава 5.

Московские гости играют «Лира». У них Лир – торгует сосисками, король сосисок. Замок на «Рублевке», домик на Лазурном берегу, пентхауз в Майами, дворец на Кипре. Отходит от дел, передает бизнес дочерям в доверительное управление. На сцене роскошь! Как это нынче принято, Гонерилью, Регану и Корделию играют здоровенные мужики. Шпильки на бритую ногу, морды раскрашены, бедра в дамских купальниках, губы нафаршированы ботексом – как полагается. Руки с наколками. Чтоб никто не перепутал – поперек груди ленты с надписями: «Гонерилья», «Корделия», «Регана». Король между ними болтается в бумажной короне с надписью фломастером: «Король». Короля, для убедительности, играет толстая старая баба. Веселая история.

Весело начинался мой кошмар, граждане судьи. Гремит попса. Маршируют Гонерилья, Регана и Корделия. Восторг и благодарность испытывает публика. В боковом проходе, у бархатной занавесочки, на входе-выходе, стою я.

Двое в деловых костюмах с бейджиками (рыцари), хватают «Короля» за руки, за ноги, раскачивают и выбрасывают в окно. Регана кричит: *«Это невыносимо, когда родители так долго живут! О чем они только думают!»*

И тут, граждане судьи, вдруг ловлю на себе взгляд странной дамочки. Дамочка сидит в десятом ряду и напоминает ведьму из детской сказки. Дамочка-ведьма не обращает на сцену никакого внимания, жует меня глазами. Вслед за чем, поднимается, идет ко мне, утыкается в мой лоб вороньим носом, заглядывает провальными зрачками прямо в душу, наклоняет космы и что-то хрипит в ухо.

Глава 6.

Я испугался, граждане судьи. Рукой шевельнуть не мог. А кто бы не испугался? Такие безумства не каждый день происходят. Наклонилась ко мне дамочка, а от нее жаром пышет, как от раскаленной сковороды. На морде картошку жарить можно. Хочу убежать – ноги не слушаются. Замечу для полноты картины: мочевого пузырь в нашем возрасте – не самое крепкое место у мужчины. Голос у неё шершавый, скользкий, леденящий. Будто змея в ухо вползает. Стою, теряю волю к жизни. Мне бы памперс надеть, да кто ж знал?

А ведьма шепчет в ухо: *«Страшно за тебя, красавчик. Видение было – сыскать тебя, красавчик. Пророчество мне открылось. Жить ты будешь ровно шесть месяцев. Через шесть месяцев помрешь, красавчик. Готовься. Я экстрасенс и целительница в четвертом поколении. Но тебе помочь не могу. Карму твою украдут, красавик. Без кармы тут же помрешь. Отдашь концы.»*

Прощай, красавчик». «Позвольте, – говорю, – карма не колготки, как ее можно украсть?» «Обыкновенно, – отвечает. – Как всё крадут. Через оффшоры».

Услышал я про оффшоры и отчаялся. Если воруют через оффшоры – вариантов нет. Я в ужасе, на сцене Лир корчится в агонии, Гонерилья с Реганой танцуют похоронный марш, представляете атмосферку? Стою, с жизнью прощаюсь, даже про мочевой пузырь забыл. На последнем издыхании говорю себе: «Подожди, мало ли по театрам бродит сумасшедших старух? Может, её из психушки отпустили на выходные, проветриться?» Я, граждане судьбы, в мистику не верю. Но стали меня посещать видения. Особенно по ночам. Одно страшнее другого.

Глава 7.

Снится мне немое кино. Иду по продовольственному магазину, бац – инфаркт, падаю замертво в мясной холодильник, прямо под табличкой «Халяль».

Или сижу рано утром на кухне, завтракаю манной кашей, бац – инсульт; рожу скособочило, изо рта течет, мычание, звонит телефон, тяну руку к трубке, рука не слушается, сбрасывает трубку на пол, из трубки звенит кукольный голос: *«Дорогой покупатель! В магазине «Пятый угол» акция – три бутылки водки по цене двух!».*

Операционная, лежу на столе, четыре хирурга обступили меня, точат кухонные ножи, заглядывают в раскрытый живот, беспомощножимают плечами. Бац - монитор пищит сиреной, кривульки на экране превращаются в одну сплошную линию, хирурги огорченно вздыхают, бросают ножи прямо в отверстие брюхо, снимают марлевые повязки и резиновые перчатки – бросают туда же, будто я – не я, а контейнер для мусора.

*«Я – живой!» – кричу через маску для наркоза. –
Пожалуйста меня, я – живой!»*

«Иллюзия», – небрежно отвечает хирург, отключает какой-то тумблер. После чего я начинаю раздуваться, как воздушный шарик и, наконец, лопаюсь с оглушительным треском.

Ну, и напоследок – иду по улице. Бац – над головой отрывается от карниза гипсовый амур, летит вниз на тротуар. Падает к моим ногам, разлетается тысячей осколков. *«Боже мой, – шепчу, – как же мне повезло!»* – пачусь от осколков назад, на дорогу – там меня встречает огромный бронированный джип. Удар подбрасывает тело, лечу в небо тряпичной куклой, потом падаю на тротуар – голова к голове, нос к носу с гипсовым амуром, и кажется мне, что он улыбается.

Глава 8.

Граждане судьи. Мне 67 лет, и все эти 67 лет я был дураком. Хочу рассказать вам, как умнеет человек, когда узнает, что ему осталось жить полгода. Я, граждане судьи, решил проверить пророчество сумасшедшей старухи. Конечно, вы уже догадались. Куда я мог пойти? Я пошел на вокзал к цыганкам.

Цыганки, как водится, туда-сюда: *«Дяденька, позолоти ручку!»* Главная старуха говорит: *«Цыц!»*, бардак тут же прекращается. Старуха брови хмурит, лоб морщит: *«Молчите все. У человека беда. Не видите – спасения ищете?»* Руку мою берет, тут же ее прочь отбрасывает: *«Не стану тебе гадать. И денег с тебя не возьму. Иди своей дорогой, голубь».* *«Не пугайте меня, тетенька, – говорю, – я и так уже три ночи не сплю».*

«Не спишь, не ешь, о смерти думаешь. Правильно думаешь, голубь. Смерти не бойся. Пока живой – нечего бояться, когда умер – поздно бояться. Бойся, мил-человек, умереть раньше жизни».

Глава 9.

Когда тебе стукнуло шестьдесят, граждане судьи... А шестьдесят, поверьте мне, случаются неожиданно... Пенсия – как автомобильная авария. Блямс – и ты уже по ту сторону жизни. Прощайте, глупости и безумства. Нет-нет, кое-что еще имеется. Но как-то по-другому. То есть к любимой женщине уже не полезешь по водосточной трубе на четвертый этаж, а поедешь на лифте... И счастье за тридевять земель искать не побежишь, будешь дожидаться дома, на диване... Точно помню, когда-то...

А теперь... Посмотрел на игривые ножки, застучало сердце, тут же подумал: оно тебе надо? Пососал валидол, посмотрел в зеркало – огурчик. Только не зеленый, а соленый. А так – все по-прежнему. Правда, половина одноклассников уже на кладбище... Вот засвистело в ушах. Раньше не свистело. К чему такой свист, кто-нибудь знает? Никто не знает.

Каждый из нас за свою жизнь сдает определенное количество посуды. Сидишь, думаешь: неужели я уже всю посуду сдал? Пора подводить итоги? Ночами вроде спишь, а вроде не спишь. Во сне кому-то объясняешь, почему сделал то, и не сделал это. И почему не сделал того, чего не сделал. По какой причине получилось меньше, чем мог, и не получилось большее из того, что хотел?

Почему жизнь изменяет нам направо и налево, как нехорошая женщина, граждане судьи?

Я оперу люблю. Какую оперу? Итальянскую. А разве бывает другая? Достоешь из этажерки виниловую пластинку в драгом советском конверте. Кладешь ее на диск проигрывателя. Оживает пластинка. Рыдает голосом клоуна Канио, опера «Паяцы».

Слушаешь и думаешь. Жизнь изменяет нам направо и налево, а ты не можешь пристрелить изменщицу, как несчастный клоун из великой оперы. Зачем придумал маску клоуна тот, кто управляет нашей жизнью? Зачем он придумал маску старости? Если он всемогущ, какая ему

разница? У него лимит: шестьдесят, девяносто, сто двадцать? – хорошо, раз так решил – делай это! Но зачем мучить в конце? Зачем убивать человека старостью? Отнимать силы, ум, здоровье, память? Зачем калечить, заставлять страдать – и год, и два, и десять... Так мало даешь, так много отнимаешь, Ты, который Судья судьей... Поклон и торжественный финал: «Сдохни, паяццо!»

Глава 10.

Я оперу люблю, но слушаю редко. Стоит включить, тут же сосед молотит кастрюлей в стену. Ревет, как взбесившийся слон. Типа: *«Два часа ночи! В шесть вставить на работу! Отключи шарманку и заткни фонтан, дебил! Кретин! Козел! Ублюдок!»*

У него богатая лексика. Парад синонимов. Мог бы стать поэтом, если бы захотел. Не хочет. Я умолкаю. Храпи, животное! Ты не виноват, что у нас стены бумажные! А кто виноват? Архитектор? Или мы, согласные жить, как мыши?

Наш районный терапевт, граждане судьи, не любит оперы. Он любит тамбурины и кимвалы. Так сложилось исторически. Он приехал в наш северный городок из далекого юга. По одним данным, учился на ветеринара. По другим – не учился вовсе, а диплом терапевта купил на рынке. У нас же теперь рыночная экономика. И рыночная медицина. Вот, появились врачи-рыночники. Они диплом на рынке покупают и приезжают к нам отбивать инвестиции. Наш терапевт-рыночник очень старается лечить. Выписывает два безопасных лекарства: аспирин и валерьянку. Мы его совсем не боимся – от аспирина и валерьянки хуже не будет.

Мы в городке давно научились определять, какой врач и за сколько купил диплом. Чем солиднее выглядит доктор, тем опаснее к нему ходить. Которые после честной учебы – они такие невзрачные, на копейку одетые, пешко ходят, и вообще. Их практически не осталось. То ли

вымерли, то ли ушли в бухгалтеры. Остались, которые на джипах. Молодые, модные, пахнут парфюмом. Вежливые.

В поликлинику приятно заходить. Не поликлиника, а салон красоты. Дизайнерская мебель, компьютеры, томографы, халаты с вышивкой. Только не лечат, а так все хорошо. Уезжаешь на кладбище, полный приятных воспоминаний. Мы не обижаемся. Мы понимаем – не всё сразу. Как только построим развитой капитализм, наступит светлое будущее. А пока... Такая у нас судьба. Мы строители. Все время что-то строим. Сначала строим коммунизм, потом капитализм, потом... даже страшно подумать, что мы еще можем построить, потому что мы же всегда строим без чертежей? Кто знает, почему строительство рая всегда происходит в аду? Что не так с нашей головой?

Глава 11.

Вот и в поликлинике внедрили систему электронной записи. Мечта. Нажал кнопки, получил талончик, там указано время. Пришел. Так нет, все с электронными талончиками всё равно приходят к восьми утра и сидят в очереди? Идиоты? Или им тоже не с кем поговорить? А в очереди за час другой можно перекинуться словечком... Грыжа, люмбаго, альдгеймер, то да сè... Терапевт-рыночник тоже, кстати, ни в чем не виноват. Ему пообещали светлое будущее, а когда не дали, он его сам нашел, как сумел.

Объяснил я ему, что жить мне осталось шесть месяцев, если медицина не поможет. Попросил проверить здоровье. Тут у нас состоялся умильный разговорчик.

ОН. Проверить? Зачем проверить? У тебе болит?

Я. У меня не болит.

ОН. Как лечить, если не болит? Мы здоровое не лечим.

Я. Должен через полгода умереть. Значит, я тяжело и опасно болен.

ОН. Не кричи. Всех больных распугаешь. Знаешь что? Ходи в психический кабинет! Там хороший доктор, настоящий, из сумасшедшего дома! Здесь торгует на полставки. Ходи, не пожалеешь!

Глава 12.

К врачу из сумасшедшего дома я, граждане судьи, не пошел. Не потому, что считаю себя исключительно нормальным. Кто в нашей стране прожил шестьдесят семь лет, тот нормальным быть не может. Я решил поехать в Москву. Рекламу слышал, что есть в Москве американская клиника.

Американцы любят всем вредить. Их кашей не корми – дай куда-нибудь приехать и навредить. Джинсами, джипами, компьютерами, смартфонами, айпадами, квартирами в Майами. Столько людей погубили, сволочи! Про интернет молчу. Прибавьте к этому чипсы, бургеры и кока-колу. А гребаные долби-кинотеатры? Три дэ, четыре дэ, цвет, звук, спецэффекты – омерзение. Смотришь и говоришь себе: гадость. Мечтаешь сбежать куда-нибудь за угол, посмотреть отечественную, добродетельную комедию. Не дают! Лупят в нос блокбастерами круглый год.

Кто еще не понял: они решили погубить нас через удовольствия. Вот почему я решил к ним пойти. Лечь на американскую амбразуру. Если есть во мне какая-то зараза, они с большой радостью ее найдут.

Глава 13.

Поехал. Вхожу – дворец. Подумал, что ошибся адресом, в ресторан попал. Нет, говорят, клиника. И тут же сильно огорчили. Страховой полис, наш, российский, показываю, а они руками машут – не-не-не, только за деньги. Как, за деньги? Вы в Россию зачем приехали?

Помогать? Так помогайте. Мы помогаем, отвечают, но за деньги. А права человека? Пожалуйста, отвечают, права человека бесплатно. Но сначала купите билет на самолет. Поняли подколку? Не поняли? И я не понял.

«Хорошо, – говорю, – сколько будет стоить меня проверить?» «Смотря как, – отвечают. – Вам голову, сердце, желудок или мочеполовую систему?» «Всё, сверху донизу!» «Триста тысяч рублей, – говорят». Обрадовали. Не есть, не пить, штанов не носить, пенсию до копейки откладывать, и ровно через сто четыре года... Вот тогда, граждане судьи, я и решился на преступление.

Ах, как вы оживились, граждане судьи! Про преступления вам интересно? Спасибо! А то я думал, вы уже спите!

Да, тридцать первого июля прошлого года я пошел на преступление: решил продать мёртвые души. Не надо подозрений, граждане судьи. Смотрите на меня с жалостью, я ее заслуживаю, но не надо косить глазом в сторону охраны: я – спокойный, тихий и вполне вмняемый. Я понимаю, что у нас мертвые души не продаются. С одной стороны. А с другой стороны... Еще как продаются!

Умоляю, дослушайте! Психиатрическую экспертизу мне уже проводили. Так вот, мертвые души у нас – очень ходовой товар. Полно желающих. Люди с деньгами просто мечтают. Короче, мне дали триста тысяч. Вы спросите, откуда у меня мертвые души? Достались по наследству. Один экземпляр. Не надо смеяться, нет, он не бывший дворник. Он – раритет. Первое прижизненное издание, 1842 года. «Похождения Чичикова, или мертвые души». Обложка, правда, более поздняя, зелененький такой переплет, кожаный, что конечно снижает цену на букинистическом рынке.

Вас интересует, как это я, имея дома раритет на триста тысяч, ужимался в пенсию? Отвечаю. У меня все есть. Вы напрасно думаете, что я голодаю. Мы,

пенсионеры, очень изворотливы. А насчет продажи... Хочу заметить: нельзя память предков спускать в унитаз. Это преступление.

А я ее продал... за триста тысяч сребреников... Нет, я не собираюсь вам объяснять, что букинист мне всучил фальшивые деньги. Деньги были настоящие!

Глава 14.

Ну конечно, он меня обманул. Как же без этого. Бизнес есть бизнес. Он мне долго объяснял, что углы переплета повреждены. Можно сказать, почти уничтожены. И страницы потерты. Отдельные, так даже с пятнами. Текст частично утерян. Увы. Сохранность минимальная. К сожалению.

Я и не спорил. Конечно, отразилось время. Гражданская война, понимаете ли, граждане судьи. Потом Ленинградская блокада. Чудом не сожгли для обогрева... И не отдали за кусок хлеба. Дедушка с бабушкой ушли из жизни, а мама выжила, она молодая была. Оставила мне..., а я продал...

Букинист мне про аукцион «Сотби» анекдот рассказал. Вроде в 2008 году первое издание «Ревизора» из императорской библиотеки, в эксклюзивном переплете – кожа, золотой двуглавый орел, идеальное состояние – ушло за семь с половиной тысяч фунтов. Еще на кнопки калькулятора понажимал, фунты в рублики перевел. Ну, в общем, по его расчетам выходило, что он мне еще переплачивает. Из соболезнования к дедушке и бабушке, жертвам немецко-фашистской агрессии.

Короче, я согласился. Искал триста тысяч – нашел. Чего чудить? Уж такой я бизнесмен из районной библиотеки.

Я ее продал... Продал душу нашей семьи. Душа семьи иногда прячется в странном месте, граждане судьи... Душа народа тоже... Она может быть в книге... В стене, которая плачет... В рисунке на доске... У всех по

разному... Душа приходит из вечности и сама выбирает себе дом. Может выбрать сердце господина Гоголя, а потом уйти от него в книгу...

Книга приходит в дом, и вы понимаете: пришла душа. Мне всегда казалось, что «Мертвые души» - не просто книга. Она не просто так дана стране, народу... моей семье... Полтора века эта книга жила с нами... А я ее продал. За триста тысяч сребреников. Господи, почему мы бываем умными так редко, а глупыми – почти всегда?... Зачем ты дал нам жизнь и не научил ею пользоваться?...

В тот день всё и началось. Всё, что потом со мной случилось... началось тогда. Когда я божий дар променял на яичницу. Продал то, что продавать нельзя. Я здесь, граждане судьи, потому что меня наказали... Нас наказывают, когда мы продаем то, что нам не принадлежит... Душу нельзя продавать... ее можно только дарить...

Глава 15.

За триста тысяч в американской клинике со мной хорошо обошлись. Врач – филиппинец, три медсестры из Камбоджи. Вежливые, приветливые, ласковые. Стены в золоте, кудрявые фикусы вдоль стен, греческие арфы с волооками арфистками, музыка сфер. Сплошные телячьи нежности. В томограф положат – кофеем угостят. Кровь сдаешь – конфетку подарят. Аппаратов много, аппараты разные, во все дырки залезли – аккуратно, трепетно, внимательно, бережно. Всего меня ощупали, всего просветили, всего промониторили.

Вручили историю болезни в дизайнерском оформлении, сертификат здоровья засунули в серебряную рамочку с натуральным покрытием из сусального золота. Вы здоровы, как бык, говорят. Поздравляем вас, гражданин Башмаковер! И денег хватило : тетенька в тетеньку! Получите рубль двадцать сдачи, нам чужого не надо.

Так он мне на русско-филиппинском наречии говорит, а меня от его слов ужас охватывает. Если ты абсолютно здоров, по какой причине ты должен умереть через полгода? Значит, *меня убьют?*

Один, без охраны, бронированного авто, и не женат на дочке премьер-министра. Как спасти свою жизнь?

Глава 16.

В расстроенных чувствах плетусь к вокзалу. Вдруг слышу полицейскую сирену. Догоняет она меня и бьет по ушам. Застываю на краю тротуара, прижимаю к груди дизайнерскую историю болезни и золоченый сертификат, ожидаю кошмара. И он случается.

Пролетает мимо меня чёрный БМВ с хитрыми номерами, открывается окно фирменного драндулета, вылетает оттуда спортивная сумка и падает к моим ногам. БМВ уносится прочь, полицейская машина – за ним следом.

У них погоня. А у меня – приключение моей жизни. Граждане судьи, я ни в чем не виноват. Говорю вам истинную правду. Божье наказание упало к моим ногам. Имело оно форму сумки. В которой лежал миллион долларов.

Да, граждане судьи, зеленые пачки долларов лежали в сумке, и не надо мне задавать наводящих вопросов: все, как один, оказались настоящими. То есть они не были фальшивые, их украшало другое достоинство: они были меченые.

Но я это не сразу узнал. Обнаружил тогда, когда попал домой и случайно зажег фиолетовую лампу. Я часто зажигаю фиолетовую лампу, граждане судьи. Когда жизнь становится особенно нестерпимой, тоскливой и мучительной, я меняю ее цвет. Понимаете? Меняю цвет, тогда мне кажется, что жизнь изменилась. И есть надежда. Так что я зажег фиолетовую лампу сразу, как вбежал домой. Ибо ужас сковал мои не молодые члены.

Я никогда не думал, как страшно быть богатым. Послушайте, куда спрятать миллион долларов, если он у вас есть? Как его уберечь от жуликов, воров и бандитов? В Москве это конечно маленькие деньги. В Москве миллион «зеленых» – смехотворная взятка, которую перепуганный чиновник может запросто швырнуть в окно автомобиля. А в нашем городе-поселении миллион – сумасшедшие деньги. Даже в рублях.

Интересное наблюдение: никто из моих соседей не боится денег. Они верят, что рождены, чтобы сказку сделать былью. И ждут халявного миллиона. Еще одно интересное наблюдение: никто, никто в нашем городе не понесет найденные деньги в полицию-милицию. Потому что все прекрасно представляют себе, что с ними там сделают.

У нас родился новый закон, который все соблюдают, хотя никто за него не голосовал. Закон такой: государству – ни копейки! Хрен ему в зубы и вилы в бок! Государство ворует у меня деньги всегда, везде, и по любому поводу. За электричество, газ, тепло, воду, оно продает мне картошку по цене ананасов, а ананасы – по цене алмазов. Оно отбирает у меня девяносто процентов зарплаты, обещая взамен сделать все бесплатным. Но все, что оно предлагает мне бесплатно, хочется сразу и без колебаний отправить в помойку.

Поэтому я принес деньги домой. Зажег фиолетовую лампу, чтобы успокоиться. И понял, что деньги – меченые. Когда где-нибудь собирается толпа народа, кто-нибудь непременно оказывается подозрительным. Отдельные товарищи у меня лично вызывают панический ужас. Наши города неправильно построены. В них слишком много закоулков. Особенно, если в твоих руках сумка с деньгами.

Я видел по телевизору, как общаются с акулами. Залезают в железную клетку и смотрят на них в бинокль.

Мне сразу захотелось в клетку. Вы понимаете? У себя дома мне захотелось в клетку. Потому что отделяла меня от безумия толпы картонная дверь и врезной замочек, который выламывался одним ударом ноги.

В клетке спокойнее. Но где ее взять? Миллионы падают с неба редко. Чтобы тебе повезло, надо продать душу. Продажа происходит случайно, к тому же не у всех берут.

Вас взяли – и тогда вам обязательно понадобится забор. Счастливая жизнь начинается с хорошего забора. Я имею в виду настоящую счастливую жизнь. Которая за колючей проволокой.

Четыре метра элитного железобетона в высоту. Если из кирпича - лучше пять, кирпич боится взрывчатки. Видеокамеры и бойницы для пулеметов по периметру. Некоторые делают два забора, между ними – контрольная полоса, заселенная живыми крокодилами. Это надежно. Это дорого. Это клёво. Туда можно сбрасывать неприятных гостей.

Но куда в хрущевской «однушке» спрятать деньги? Она не предназначена для миллионов!

Консервные банки из бетонных панелей, именуемые жильем, сооружают для таких, как я. Пакуют в них жильцов. Консервированные граждане хорошо сохраняются. Консервированный народ – стратегический запас отечества.

Глава 17.

Извините, граждане судьи, вы должны меня понять. Вы должны понять, что домой вернулся не обыкновенный Башмаковер, который здесь жил до и после получения пенсии. Домой вернулся Башмаковер со снесенной крышей.

А вы пробовали добраться домой из Москвы на двух электричках и парочке перекладных автобусов, если у тебя на животе – миллион долларов?

Почему электрички с автобусами? Хотите предложить такси? Ночью, в лесу, на пустой дороге, наедине неизвестно с кем? В автобусе и электричке хотя бы имеются посторонние люди. Но кто эти люди? Шпана, алкоголики, наркоманы. Если ты аккуратно одет, и в руках у тебя приличная спортивная сумка – жди беды. Но есть идеальное средство защиты, и те, кто ездят в электричках, его знают. Идеальное средство защиты – вонь. Если от тебя воняет, как от привокзального туалета – ты в полной безопасности. Более того, тебе обеспечен персональный вагон. Не буду вдаваться в подробности, как раздобыть защитный запах. Это неприятно, однако вполне доступно!

И вот вы лежите на сидении, сумка – под головой. Костюмчик истерзан ногами и пропитан защитными средствами собственного приготовления. В вагоне – священная пустота. Иногда запоздалый пассажир открывает дверь, принюхивается, корчит рожу и торопливо ретируется. Сбегают все: и хулиганствующие юноши, и половозрелые граждане пьяной наружности, и одетые по последней моде азиатские девушки.

Для полного счастья дверь вагона открывает настоящий бомж, ходячая помойка. Он укладывается на лавку неподалеку, и вагон становится убежищем, надежным, верным, твоим.

«Спальный вагон!» – хрипит бомж, укладываясь, и подмигивает мне. А я подмигиваю ему. Мы оба нашли то, чего искали – покоя.

Глава 18.

Граждане судьи, вы не представляете, какое это счастье – отмывать деньги. Сначала ты достаешь из-под ванной большой эмалированный таз, ставишь его на

крышку унитаза, расстегиваешь молнию на сумке и бросаешь в таз одну упаковочку долларов: на пробу. Засыпаешь стиральный порошок и водишь руками среди зеленых водорослей с портретами американских президентов. Трешь президентов щеткой до остервенения, полируешь их заокеанские морды. Потом развешиваешь деньги-водоросли на веревках для белья и долго сушишь феном. Пока не убеждаешься при свете фиолетовой лампы, что подлое слово «взятка» исчезло без следа. Тогда ты выворачиваешь содержимое сумки в ванную и заливаешь кипятком. Аминь!

Конечно, в это самое время какая-нибудь сволочь непременно позвонит в дверь. Друзья и соседи! Зайдите позже! Башмаковер занят! У него водные процедуры!

Глава 19.

И вот я захожу в комнату с тазиком в руках. Босой, в длинных черных трусах и голубой обвислой майке. Ставлю тазик на пол. Сажусь на диван. Кладу ноги на тазик.

Утро. Всю ночь я драил на стиральной доске зеленых американских президентов. И вот, наконец, они покоятся с миром в эмалированном тазу.

Ничего не бояться! Ничего не бояться! Сажу на диване! Положил ноги на миллион долларов! Могу себе позволить! Протягиваю руку, включаю телевизор! Отдыхаю! Гражданин телевизор, покажите мне баунти, райское наслаждение!

В тазике – мокрый миллион. Сейчас я его буду развешивать для просушки. Потом разглаживать утюгом. Все продумано до мелочей. Если бы вы знали, как миллион просветляет разум. Ту же забываешь о смысле жизни и вспоминаешь о ее безграничных возможностях. И самая первая из них – досыта налюбоваться своим сокровищем.

Ах, нас в школе научили издеваться над великим Скупым Рыцарем. Который был несметно богат и обожал запускать руки в драгоценные закрома, гладил сундуки золота, как любовниц и любил их больше собственных детей. О, господин Пушкин, я Вас обожаю, Вы – гениальный писатель, Вашими книгами заставлены полки библиотек. Но ваше отношение к деньгам меня смущает. Вы тоже попали в партию нищих, которым недоступна радость жизни. У Вас никогда не было миллиона, вы материализовали свою зависть, наделив Скупого Рыцаря отвратительной внешностью и патологической скупостью. На самом же деле – он красавец! Розовощекий, пузатый, веселый. Они все такие, когда их показывают по телевизору. Пьют шампанское с малиной, наслаждаются властью над миром. Ибо «золото правит миром», а они правят золотом. Слава героям!

Так начинается полет. Облезлые обои, похожая на куриную клетку «однушка» в хрущобе, тазик на полу. Но где мы будем завтра? Вот вопрос!

Телевизор гундосит свое. Он канализирует криминальные новости. Сегодня в Москве был задержан при получении крупной взятки депутат Государственной думы гражданин Кучеров-Селифанов. Депутата задержали после драматической погони, в результате которой личный автомобиль депутата был обстрелян и ударился в столб. Депутат не пострадал. Во время попытки бегства от полиции, депутат выбросил в окно автомобиля сумку с деньгами, которая пока не найдена. Нашедшего просьба немедленно доставить деньги в ближайший пункт охраны общественного порядка. Полиция предупреждает: деньги – меченые, использовать их не удастся. Присвоение денег является уголовным преступлением. А теперь о погоде.

Глава 20.

Ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. Они пометили деньги. Чем метили, господи? Почему ваша краска отмылась обыкновенным стиральным порошком? Нормальную краску, по обыкновению, украли? Метили каким-то фуфлом? Спасибо вам за это от миллионера Башмакова. Чем я хуже ваших депутатов? Я тоже могу.

Вы мне всю жизнь обещали коммунизм. А когда он наступил – зачем-то пугаете меня по телевизору. Не надо меня пугать. Я пуганный. Что вы можете со мной сделать? Убить меня? Я и так не живу. Чего бояться?

У нас человек еще звучит гордо? Или уже не гордо? Вы же сами мне объяснили, что я создан для счастья, как птица для полета. Всю жизнь ждал этого полета. Вот – дождался. Что ж теперь?

Я выключил телевизор, граждане судьи. Показал ему вот такой кукиш, а потом шарахнул его табуреткой. Хватит наслаждаться жизнью по телевизору. Могу купить себе любое удовольствие. Список удовольствий составлю завтра. Спокойной ночи.

Я уснул на диване. С ногами на тазике. Тазик накрыл полотенцем. Для конспирации.

Спал я недолго. Минут десять. Проснулся в поту. Отмыл деньги, теперь надо их сушить, что ж это я! Прокиснут в тазике, и что тогда?

Залепил газетами окна, развесил деньги. Веревки не хватило. Разложил доллары по полу, на столе, на диване – накрыл валютой все горизонтальные поверхности. Даже крышку унитаза. Вы когда-нибудь видели такое? Нет? И не увидите!

Хорошее дело – миллион долларов. Никогда в жизни не наблюдал себя таким счастливым. А главное – таким умным! Потом гладил купюры утюгом, сутки, не разгибаясь. Устал как собака. Сложил их в полиэтиленовые авоськи. Спортивную сумку, как главную

улику, олго резал ножницами на мелкие кусочки. Потом вынес на помойку. И не на свою помойку, а чужую, в дальнем дворе.

Домой бежал опрометью. Я и не предполагал, что это так страшно – оставлять свои деньги без присмотра. Прибежал. Проверил авоськи. Сел. Отдышался. И тут вдруг вспомнил, что жить мне осталось пять месяцев и двадцать три дня.

Всего-навсего. А я сижу и думаю, куда спрятать деньги. И больше у меня нет никаких желаний.

В 67 лет я растерял свои желания, одно за другим, вот в чем дело. И когда судьба подарила мне миллион, я вдруг задумался: а чего я хочу? Есть и пить от пуза? Поехать в Париж или Венецию? Купить самолет? Вдруг понял, что хочу одного: спрятать деньги. Спрятать, чтобы их не украли. От мысли о покраже я вспотел. Думаете это просто: схоронить миллион долларов?

Следующие две недели я из дому не выходил. Деньги оставить боялся. Чуть с голоду не подох, когда продукты кончились. Слава богу, лапша в антресолях стояла, на случай войны. Я этой лапшой десять дней кормился. Тайники придумывал. И придумал.

Глава 21.

Диван-кровать, на котором спал, распорол по боковому шву, запихнул в него деньги. Зашил диван, уселся сверху. Несколько раз подпрыгнул. Диван треснул по шву, деньги вывалились вон.

Поел серой лапши и решил засадить деньги в трехлитровые банки для компотов. Закатал крышки. Получилось аккурат 10 банок. Поднял банки на антресоли, задвинул вглубь, замаскировал снаружи другими банками, огурцами-помидорами. Спокойствие длилось минуту – вытащил банки из антресолей, вскрыл крышки консервным ножом, вытряхнул деньги на кресло, накрыл клеенкой.

Пошел на балкон, принес оттуда старую ржавую канистру из-под бензина. У нас водопровод на неделе два раза отключается. Я в той канистре хранил аварийный запас воды. Вылил воду в унитаз. Просушил канистру феном.

Достал иголку, нитку, стал нанизывать купюры на нитку, одну за другой. Потом аккуратно засунул их все в канистру, оставил снаружи кончик, закрыл канистру. Открыл канистру, попробовал за ниточку вытянуть из горлышка деньги – получилось! Прошептал чуть слышно: «Герметический, несгораемый, противоударный кошелек. Гениальное изобретение человеческого разума. И как удобно! Один метр – тысяча долларов. Два метра – две тысячи долларов. Ай, да Башмаковер, ай да сукин сын!»

После дополнительных размышлений привязал к кончику нитки бублик – чтобы нитка от меня не убежала вглубь канистры. И окончательно успокоился.

Глава 22.

Граждане судьи. Водка и женщины много сотен лет охраняют нашу страну от гибели. Трезвенники пытаются погубить страну. Но не успевают. Наука не в состоянии объяснить ни того, ни другого. Нашей страной нельзя управлять на трезвую голову. Да будь ты хоть тысячу раз император, сто тысяч раз генеральный секретарь или двенадцати пядей во лбу президент – ничего у тебя не получится на трезвую голову. Выпивохи и бабники сделали нашу страну великой! А трезвенники и тихони всегда доводили до ручки.

Секрет счастья прост: надо окончательно запретить нашей стране трезвый образ жизни. В Мавзолее открыть ресторан, в Кремле – ночной клуб. Занести этот факт в Конституцию. Не прятаться от водки и баб, граждане судьи! Эта чудотворная и спасительная идея была дана мне через великое страдание. Страдание мое звали

барышня Коробкина. Ей было от роду тридцать лет и три года. Пришла она ко мне из Газпрома, газовую плиту проверять. Проверила и тут же завалилась в койку. Я ей говорю: гражданка Коробкина, если вы надышались газу, я вам форточку открою!

Не подумайте ничего, не подумайте плохого, граждане судьи. Я нормальный, но женщин боюсь. Три раза был женат. Они меня долго не выдерживают. Сбегают. На самом деле, секрета нет, почему они сбегают. Я, граждане судьи, денег не зарабатываю. Мне бы научиться воровать – бесценный был бы мужик. Но не дано. Воровать совершенно негде. Если ты работаешь в библиотеке – чего воровать? Старые газеты и журналы? Уйти оттуда? А как уйдешь от детей? Дети же сейчас никому не нужны, ни родителям, ни отечеству. Отечество для них строит игровые автоматы и пивные ларьки. Родители обучают матерным словам и тут же про них забывают. Жалко детей...

Я – вот что придумал. Детишек в мою библиотеку бесплатными пирожками заманивал! Пока они пирожок на халяву лопали, я им стишок Пушкина читал. Сегодня один, завтра другой.

И вот что я вам скажу: за год условный рефлекс вырабатывается! Человек, который возлюбил книгу, это драгоценный человек, граждане судьи. Кто книги читает, тот людей видит с разных сторон. Как в «три дэ» кино. А кто не читает, тот людей не понимает, презирает, и обязательно когда-нибудь кого-нибудь убьет. Убьет по глупости или от скуки.

Зарплата в библиотеке маленькая, а пирожки дорогие... Но как представишь себе, сколько ты жизнью спас... Я женщинам про пирожки пытался объяснять. Некоторые меня жалели, не сразу убегали. Но все равно убегали. Женщины так устроены. У них колготки часто рвутся. А когда нет денег на колготки, женщины обижаются. И сбегают. Вот...

Я давно привык без женщин обходиться. Хотя, когда меня выгнали на пенсию, мысли, конечно, появились... На две пенсии легче прожить. В Доме-дворце для культуры – много женщин: гардеробщицы, поломойки, буфетчицы. Я даже присматриваться начал. А тут барышня Коробкина мне в кровать падает, и глазки намасливает. Представляете? Очумел, не буду скрывать. Говорю: простите, вы меня ни с кем не перепутали, гражданка Коробкина? А она мне отвечает: зови меня КоробОчек, мне будет приятно. КоробОчек! И тут в этом КоробОчке-колобочке такой приступ любви закипел, что хоть «Скорую» вызывай. *«Жить без тебя, кричит, не могу. Я тебя нашла, и теперь ни за что не потеряю. Без Газпрома, говорит, проживу, а без тебя – нет!»* Представляете? Так Газпром обидеть – ради меня? Но мне шестьдесят семь, я пенсионер, и про любовь хотел бы слышать, в основном, по телевизору. Так ей прямо и сказал. *«Ты имеешь в виду чики-чики? Зря беспокоишься, - отвечает. - Я не простой КоробОчек, я – Коробочек с секретом. Будешь доволен».*

Встает с постели, в чем мать родила, и идет на меня, как немец в сорок первом. А походочка у нее, граждане судьи, такая, что части тела по отдельности танцуют. Тела много, всё танцует, кто в лес, кто по дрова, и как это можно выдержать? Я же еще молодой пенсионер! Мне в голову не могло придти, граждане судьи, что она за моими долларами пришла. Я ведь никогда прежде не видел женщин, которые любят за доллары. Я вам прямо скажу, граждане судьи – это что-то! На мое несчастье, я к тому времени американские денежки перепрятывал-перепрятывал, и снова принес домой...

Глава 23.

То есть сначала я их увез в лес. На велосипеде. Привязал канистру к багажнику и поехал. Еду. Бублик болтается, канистра звенит. Лепота.

Саперную лопатку предусмотрительно под курткой спрятал, чтоб никто не догадался, зачем я в лес еду. Выкопал ямку под разлапистой елью, положил в нее канистру. Засыпал. Накрыл дерном, забросал сухими шишками. На разлапистой ели саперной лопаткой сделал условный знак – засечку.

Ударил лопаткой по стволу – а мне на голову вдруг шишки посыпались. Целое ведро сухих еловых шишек на меня обрушилось. Шишки длинные, желтые, похожие на перезревшие огурцы. Увесистые. Молотят по голове. Утянул голову в плечи, терпеливо дождался конца избиения. Посмотрел наверх. Спросил: *«Господи, ты сам дал мне эти деньги. А теперь дерешься. За что?»*

Тут меня по лбу еще одной шишкой шарахнуло. Разозлился я. Поднял велосипед, спрятал лопатку и пошел к дороге. Метров десять прошел – меня еще одна шишка догоняет, с другого дерева, и прицельно лупит по затылку. Как бы мне намекает, что я не прав. А я не понял.

Всю мою жизнь, граждане судьи, я был атеистом. Как все, кому сейчас за шестьдесят, я родился и вырос за пазухой у советской власти. Сейчас многие мои сверстники ходят в церковь-костел-синагогу-мечеть, делают вид. Врут. В бога надо верить с детства. Тогда он настоящий и живет в сердце. А по-другому бог получается придуманный.

В моей жизни не было бога, потому что его не было. Потом он появился, очень шумно появился, как будто отец вернулся из командировки, и привез нам, постаревшим детям, кучу подарков: десять заповедей, ад и рай, загробную жизнь, чудо воскресение. Я очень старался поверить. Честное слово, старался изо всех сил! Читал святые книги, слушал божественные песнопения. Мне все очень нравилось. Но как-то по-другому. Так нравится хороший концерт. Что-то внутри меня никак не оживало. Я тогда иподумал, если это чувство... Чувство, которое

называют верой, не родилось в душе ребенка... Оно утеряно навсегда.

Там в лесу... Некто явился ко мне в виде обыкновенной шишки... Упал на голову. Аккуратно так упал: чтобы я Его непременно услышал, но остался жив. И ведь я почувствовал, что она упала мне на голову не случайно. Я это почувствовал. Но не понял, кто бросил мне шишку во спасение. Не смог объяснить.

Иегова, Христос, Аллах, Будда – кто-то из них кричал мне: *«Даю тебе деньги, но это не твои деньги. Я через тебя дал их людям. Все, что я даю, я даю людям. Кто не слышит меня и мое крадет у людей – рано или поздно все потеряет»*. Но я не услышал.

И тогда Некто решил расправиться со мной. Он часто творит подобное. В какой-то из великих книг так и написано: когда хочет наказать, лишает разума.

Я шел по проселочной дороге, ведущей из леса, впереди уже забрезжило асфальтовое шоссе, как вдруг навалилась на меня слепая тревога. Я вдруг понял, что не могу оставить канистру в лесу. Не могу и все. Она должна стоять (лежать) рядом, она должна быть в моих глазах, покоиться в ощущениях протянутой руки – иначе сойду с ума. Я и начал сходить с ума, медленно, постепенно, с каждым шагом своего отдаления от лесного тайника. Черная асфальтовая лента, поджидавшая меня впереди, была лентой моего безумия.

Я вернулся назад в лес, бегом, задыхаясь от ужаса, выкопал из земли канистру с бубликом. Снова привязал ее к багажнику велосипеда.

Глава 24.

Одну бесконечную неделю я прожил с ней, канистрой-кошельком. С ней спал,пил, ел. Ненавидел её. Любовался ею.

Не мог выйти из дому – расстаться с ней.
Практически, сошел с ума, гражданае судьи.

Ужас моего наказания состоял в том, что я понимал свое безумие. Вполне возможно, ничего особенного в таком состоянии нет – обычное раздвоение личности. Но я не раздвоился. Я был один в моем цельнометаллическом страдании. Канистра была сильнее меня, и только. Гениальный Верди спас от голодной смерти. Моя любимая песня вавилонских рабов-евреев из оперы «Набукко» однажды ночью принесла мне на крыльях своей мучительной гармонии простую, как булыжник, и такую же убийственную мысль: «Ты никогда не воровал, Башмаковер. И учиться поздно. Отдай деньги».

«Никогда не воровал, и учиться поздно!» – я смеялся и плакал, слушая эти мудрые, небесные слова, а вавилонские рабы гладили меня по голове и шептали в ухо незнакомые молитвы голосами итальянских ангелов. Назавтра я вышел из дому, твердо зная, что сейчас раздам деньги. Отдам людям, а не каким-то там органам хапуги-государства. Раздам бедным, больным, убогим, слабым и сирым. Из рук в руки. Без всяких церемоний. Хочешь что-то отдать людям – отдай. Я сказал себе: раздавать надо. Надо раздавать! Такое вот просветление нашло. Когда тебе шестьдесят семь, жизнь твоя в зените, и ты еще не забыл, как надевать штаны – раздавай. Раздавай все, чем владеешь! В гробу карманов нет.

Глава 25.

Как только я решился, мне так легко и хорошо стало. Я поехал на базар, туда, где люди ищут хлеба насущного. Подъехал к базару, оставил «велик» на входе, а сам с канистрой пошел по рядам. Велосипед, конечно, тут же умыкнули. Но я не обиделся. Я ведь пришел раздавать? Ниточку потянул, три денежки из канистры вытащил, двинулся к людям. Увидел бабулю прискорбного вида. По рядам ходит, ничего не покупает, только всё пробует.

Обедает, надо полагать. Я и сам так подкармливался, когда деньги кончались.

Я к бабуле подкрался, одну денежку незаметно ей в сумку воткнул. Только руку из сумки вытащил – бабуля меня хватъ за грудки, и давай орать. *«Держи вора! – орет. – Хватайте его, граждане! Кошелек украл, гадюка носатая! Эти носатые всегда курносых грабят!»*

Народ сбежался. Окружили. Всем интересно. Я ей говорю: *«Вещи проверьте, бабушка, вдруг всё на месте?»* *«Чего проверять?! – кричит. – Я тебя за руку поймала!»* А сама сумку на прилавок выворачивает. Там барахло, а посреди барахла – драный кошелек. При виде кошелька бабуля озадачивается. Открывает его, проверяет наличность. Еще больше озадачивается. Замечает среди барахла сто долларов. Американскую денежку пальцем показывает и кричит, громче прежнего: *«Купить меня хотел, американец? Не получилось, трухлявый? И не получится! Нельзя русскую бабушку поиметь без любви! И деньги, небось, фальшивые?»*

Меня пустой сумкой по голове колошматит. Бьет, да приговаривает: *«Влип, носатый, по самые помидоры! Бейте его, россияне!»*

Тут какой-то паренек в толпе образовался. Приятный такой паренек. *«Денежки, – говорит, – фальшивые? Очень может быть! А давайте, бабушка, я сбегаю, проверю!»*

Ловкий оказался парень. Схватил денежку умелой рукой – только его и видели. Всё, как бабушка хотела: и паренек курносый, и бегаёт быстро. Тут полиция подроспела. Народ немедленно ударился в бега. Бабка осталась наедине со мной. Упрямая. Полиция посмотрела на нас, говорит: *«Что за сыр-бор? Чего шумим?»* Я отвечаю: *«Бабушка требует интима, здесь и сейчас. Хотел откупиться – ни в какую!»* Они развеселились, отвечают: *«Поосторожнее, товарищ, с пенсионерками. Некоторые на этой почве звереют».*

Бабуля как завизжит: *«Вы с ним заодно? Бандитов крышуете? Позор полиции! Слава советской милиции!»* И бежать.

Глава 26.

Все бы хорошо, да тут полиция ржавую канистру заметила. *«Ты чего, дедуля, по рынку с канистрой бродишь? Террорист, что-ли?»* У меня душа в пятки ушла. *«Продаю. Хотите купить? Не дорого отдам». «А бублик зачем?» «Некоторые дырку от бублика ищут. Вот, у меня есть».*

Посмеялись они, отъехали. Стою – ни жив, ни мертв. Деньги раздавать расхотелось. Ну, вот совсем расхотелось! Дошло, наконец, до дурака: отдать не просто. Сноровка требуется... Начнешь добрые дела по-дурацки делать – и себе навредишь, и людям.

Почему-то вспомнил я тут шишку-посланницу из леса, прямо увидел ее мысленным взором: сухая, желтая, на перезрелый огурец похожая, летит ко мне с неба – и прямо в темечко попасть норовит. Остановил я её, говорю: *«Шишка-шишка, повернись к лесу задом, ко мне передом! Научи, что делать, как поступить?»* Тут же мысль в голову приходит. Вот секунда в секунду: бац, и появилась в дурной голове умная мысль.

Умная мысль в дурной голове – штука опасная. Но я тогда этого не знал. Повиновался умной мысли, двинулся с базара напрямик в нотариальную контору. Она у нас одна на весь город. И сидит в ней главный городской нотариус, господин Плющечкин. Фамилия такая вкусная – кто же не любит плюшки с вареньем! Но зачем-то Судьба обидела вкусную фамилию. Отдала её совсем не вкусному товарищу.

Вошел я в кабинет нотариуса, сидит передо мной господин Плющечкин, обо мне радеет. Кстати, многое он из-за своей фамилии в школе претерпел. Дети – они твари жестокие, им только дай повод. А тут рядом, за соседней

партой живой Плющечкин сидит. Может быть, даже дальний родственник известного Плюшкина. Важно отметить: фамилию не поменял. Не сделал этого. Возможно, привык. Возможно, тайно гордился. Вырос – обычный гражданин. Кожаные штаны, серьга в ухе и косичка на затылке. Байкер. Склеили английское слово из четырех букв и русское слово из трех букв. Получился байкер. У байкеров в ходу прозвища. Нашего еще в детстве нарекли «Плюхой».

Глава 27.

«Плюхе» слегка за пятьдесят. Лысоват, полноват. Кожа на нем лайковая, шелковистая, серьги в ушах золотые, с алмазами. Стены кабинета увешаны фотографиями готических мотоциклов и их англосаксонских владельцев. Имеется групповая фотография с Президентом, «Плюха» - третий справа.

Как только «Плюха» услышал, что я пришел оформить *завещание*, охватил его юмористический задор. Городок у нас маленький, все друг друга давно знают, и он о моей библиотечной нищете, конечно же, был прекрасно осведомлен. Оттого поинтересовался, не хочу ли я кому завещать ржавую канистру, которую принес с собой. А если хочу, то – кому? Кто в нашем поселении такой везунчик?

Я к его веселью отнесся с пониманием, посмеялся на пару вместе с ним, после чего открыл канистру и потянул за бублик с ниточкой. Из канистры поползли доллары, нотариус «Плюха» позеленел вместе с иноземной валютой и тихо поинтересовался о сумме прописью.

Я ему объяснил, что метр – тысяча, а всего в канистре километр американских баксов, то есть – миллион.

«Плюха» уронил челюсть на грудь и стал вникать в подробности. Я ему объяснил, что желаю завещать

содержимое канистры городу, для благородного благоустройства. Двести тысяч пусть на лавочки потратят, тротуары человеческие сделают. Надоело ноги ломать. И чтобы отдохнуть, когда сердечко подводит. Сто тысяч передать кладбищу, не должен человек заканчивать жизнь на городской свалке. Пусть дорожки сделают, лопухи выкорчуют. Двести тысяч направить больнице, чтобы аппаратик какой-нибудь купили для диагнозов. А то – стыдно. Чуть что – сразу режут, да так, что спасения от них нет! Городской школе, где и я учился, направить сто тысяч на ремонт и обустройство сортиров, а то позорно в двадцать первом веке на улицу бегать и дырками в полу пользоваться, девочек жалко. Ну, и двести тысяч библиотеке, где я работал. Коллегам на зарплату. Все.

«Плюха», как оказалось, быстро в уме складывает и вычитает. Сообщил мне, что еще триста тысяч «зеленых» осталось. Предложил улучшить работу нотариальной конторы. Я вежливо отказался. Тогда он попросил разрешения сбегать в туалет. Выпорхнул из кабинета. И, плотно затворив дверь туалетной комнаты, воспользовался мобильным телефоном, набрал телефон барышни Коробочкиной.

У меня тогда никаких подозрений не возникло, это потом барышня Коробочкина сдала его с потрохами.

Глава 28.

Кто бы мог подумать? Меня уважает нотариус «Плюха». Редкий человек. Есть люди, которые любят деньги и одновременно что-то еще. Например, - жену, любовницу, родину. Наш нотариус «Плюха» любит деньги в чистом виде. Без приложений. Всякого человека с деньгами он обожает безмерно, искренне и добровольно. Размер уважения точно соответствует количеству денежных знаков. То есть, гражданина с миллионом он уважает ровно в два раза меньше, чем гражданина с двумя миллиоами. И так далее. Если у вас всего сто тысяч, вам и

достанется почтения на сто тысяч. Каждому свое, так было указано.

С размышлениями о редкой породе «Плюхи» возвращался я домой. Ключевой вопрос: почему «Плюхи» не размножаются? Они размножают деньги, а сами не размножаются. И откуда берутся, науке неизвестно. Популярная версия: их находят в капусте. Не в той капусте, которую едят, а в настоящей капусте, с банковскими водяными знаками. Что радует: пока «Плюхи» не размножаются, есть надежда, что мы не утонем. Но если они возьмут на вооружение экстракорпоральное оплодотворение суррогатных матерей – нам конец...

Вошел я в подъезд, открываю дверь квартиры, чувствую – мне в спину кто-то дышит. Дышит густо и как-то натурально, не суррогатно. А я – с канистрой. Нервно оборачиваюсь. Барышня за спиной стоит, вполне детородного возраста. *«Привет, - говорит, - я из Газпрома, плиты проверяю. Сейчас проверим, все ли у вас правильно стоит. На кухне, и вообще. У вас всё функционирует? Прибором пользуетесь? Или храните для мебели? Говорите, не стесняйтесь».*

Дальше, граждане судьи, вы знаете. Атакует, как немец в сорок первом, в чем мать родила, губы коробочкой складывает. А через три дня говорит мне: *«Подлец!»*

Глава 29.

«Подлец! Ты жениться на мне собираешься? Или как?»

Сидит барышня Коробкина голышом на кровати, в одеяло завернулась, кофе с подноса берет. Я рядом обретаюсь, в простыню укутался – реальный древний грек из голливудского фильма, кофейную чашечку на блюде с голубой каемочкой прямо в постель подаю.

Не успел я на атомное нападение отреагировать, как Коробкина продолжает плачущим голосом: «Я – честная женщина. Три дня лежу в твоей кровати, а ты жениться не хочешь? Имей в виду, обманутые девушки вешаются!» «Погодите вешаться, - отвечаю. - Постельное дело вы сдали на «отлично», слов нет. Хочется проверить знания в полном объеме. Как вы обеды варите, белье стираете, рубашки гладите? В ЗАГС мужчины идут либо по молодости, либо по глупости. Слабонервные ходят «по любви». В моем возрасте, как правило, женятся после инсульта, на сиделках. Я готов обсудить проблему. Но есть вопросы. Три дня в моей постели лежите, а документы ни разу не показали. У вас документы имеются?» «Какие еще документы?» – обижается Коробкина. «Что вы из Газпрома. Вдруг вы не из Газпрома?» «А откуда?» «Не знаю. Самозванка. Газпром – достояние отечества. Туда не всех пускают». «Раньше надо было документы спрашивать. Я беременна!» «Уже?» «Газпром шутить не любит. Жениться будешь?» «Мне нельзя жениться. Я через двадцать недель умру». «Умрешь? Честно?» «Умру».

Задумалась она на мгновение. Не поверила поначалу. Доказательств потребовала. Я объяснил. «Очень хорошо. Молодец, что сказал! Я свою любовь к тебе хотела распределить на тридцать лет. Теперь за двадцать недель придется её израсходовать! Везунок! Без меня бы умер в мучениях. А со мной – умрешь счастливым! Почувствуй разницу, любимый!»

Глава 30.

Короче, утром четвертого дня она ушла за вещами. Сказала, что вещи лежат у друзей. Как выглядят ее друзья, я тогда не знал, граждане судьи. Первые двое явились немедленно.

Вошли вдвоем, нотариус «Плюха» и мэр Маниилов. Последний – мужчина приятной наружности, средних

лет, любезного обхождения. Костюм от Бриони, перстень от Тиффани, итальянская обувь ручной работы Сильвано Латанци. Раскрывает руки для дружеского объятия. И началось представление. Такое трудно пересказывать своими словами. Можно я в лицах изображу, граждане судьи? Вам понятнее будет, да и быстрее получится.

Итак, слушайте, граждане судьи, краткий стенографический отчет невероятного события, произошедшего в моей однокомнатной квартире, порожденной успехами развитого социализма.

Глава 31.

«ПЛЮХА». Позвольте вас познакомить, господин Башмаковер. Мэр Манишилов, лицо нашего города! Шучу, кто ж его не знает!

МАНИИЛОВ. Здравствуйте, несравненный товарищ Башмаковер! Изумлен до корня квадратного! Давайте присядем, дорогой! Нет, не дорогой – золотой! Показывайте, где она, ваша волшебная канистра? Вот эта? Какое чудо! Почему она стоит на таком драчном ковре? Не подобает, не подобает. Завтра утром вам подвезут новый ковер, отличное французское качество. Вы по утрам дома?

Я. Утром дома, вечером работаю...

МАНИИЛОВ. Охота вам вечерами париться? Или шутите? Понимаю, по вечерам шуры-муры, коньячок, девочки. Клубная жизнь! Как у нас теперь говорят: пошел в ночное! Счастье мое! Вы даже не представляете, как удачно в нашем городе появилась ваша канистра! Чудотворная канистра, найденная в пустыне благочестивым отроком. Благочестивый отрок, господин Башмаковер, позвольте мне вас так называть!

Две длинноногие барышни модельной внешности (богата ими Россия!) проследовали за мэром, стали за его спиной с букетами роз, бедра напряжинили – в меру

вкрадчиво, в меру притягательно – и улыбаются, улыбаются, улыбаются. Но даже на таком фоне улыбка мэра кажется яркой и обольстительной.

МАНИИЛОВ. Уже тысячу лет жители нашего города мечтают починить мост через речку Говнюху. Из-за гнилого моста, страдальцы правобережные не могут доехать до бани на левом берегу! Только крУгом в двадцать четыре километра. Не ужас ли, благочестивый господин Башмаковер? А безрукий и безногий бюджет, не дает нам ни малейшего повода для покупки новых бетонных свай. Апокалипсис в кубе! Полная гипотенуза! На ваши деньги, разлюбезный Башмаковер, мы построим небывальщину, родим восьмое чудо света, удивим древнее отечество подвесным мостом через Говнюху! Непременно подвесным! Чтобы не на земле нашей брэнной стоял, а висел в облацах, прославляя отечество! Новую баню поставим прямо на мосту, да, прямо на мосту, как в Венеции. И каждый гражданин города, посетив оздоровительную парилку, будет скоростным лифтом спускаться вниз, в священные воды древней Говнюхи, для целебного омовения в водах. Эх, кабы деньжат хватило – заделали бы нашей Говнюхе гранитные берега! Поминай как звали кочки да бурьян, луга болотные-заливные! Правый берег в розовом граните, левый – в зеленом! И знаете что? Проект бани закажем в Англии! Непременно в Англии! У самого Фостера! Да здравствует квадрат гипотенузы! Увидят тупые англосаксы что может сотворить наша родина для детей своих, страдальцев российских! Ничего для них не пожалеем, ни сил, ни талантов, ни денег! Может, добавите триста тысяч?.. Каменные берега, то да сè?..

Глава 32.

Отказал я ему, граждане судьи, насчет добавки. Хотя очень убедительно просил, растрогал до слез.

Должен отметить – он ничуть не обиделся. Тут же, одним кульбитом, тему поменял.

МАНИИЛОВ. Слушайте, давайте прокатимся в ресторанчик, пообедаем? И барышни не против. Знакомьтесь, помощницы мои. Справа Юля, слева – Катя. Международницы, днями закончили МГИМО! Свежие девочки, очень свежие. А ресторанчик – у старшего сына. Мальчик – гений! Представляете? Ему восемнадцать, а уже такой талант раскрылся! Ресторатор широкого профиля! В шестнадцать лет первый раз поджарил яичницу, а в восемнадцать – у него уже свой трактир, и где – на площади двадцати шести бакинских магазинов! Гений в четвертой степени! Без меня всего добился, исключительно самостоятельно! Я даже пальцем не успел шевельнуть. Сорок курьеров каждый день везут свежайшие продукты прямо из Греции, архивкуснейшие вина из Италии, классический портвейн из Португалии, это святое! Израиль шлет овощи, Испания – фрукты, и всё – аэропланами. Поехали, угостимся без обмана! Воздушные профитроли, четыре часа, как из Парижа! Покупаем бартером, привозим чартером. Объединение! Заклинаю! Тут ко мне известный московский артист приезжал, на день рождения. Пел, танцевал, фокусы показывал – молодец! Но сразу объявил: на пустой желудок не работает. Поверите ли, одних устриц слопал в обед шестьдесят штук! Даже обидно стало – артист пока заслуженный, а жрет, извините, как народный. Сидели, вот так, лицом к лицу... Ну что, давайте деньги, и поедем отмечать?

Тут я маленько вздрогнул и растерялся. Решил задать наводящий вопрос – вдруг ослышался. Или неправильно понял.

Я. Вы хотите прямо сейчас получить деньги?

Глава 33.

Оказалось – нет, не ослышался. Он мне бодро объявил, что это глупо – дожидаться похорон, когда можно еще при жизни все увидеть своими глазами. Все плоды моей немереной доброты и щедрости. Подвесной мост завтра подвесим, мечту о венецианской бане воплотим в жизнь. Только гоните «бабки»!

МАНИИЛОВ. Чего стесняться?! Позвольте вам доложить, господин Башмаковер, вы – идеальный образец настоящего русского человека! Сердце радуется, на вас глядя. Золотой вы наш, давайте без стеснения тратить ваши деньги. Испытайте этот неземной восторг, когда ничего себе, всё – людям! Забыл сказать: воздвигнем в бане ваш бронзовый бюст. Где пожелаете? У входа? В номерах? В бассейне, парилках или других приметных местах? Пусть помнит благодарная Россия! И слушайте, накиньте ещё хотя бы соточку? Чтобы мост лучше висел? Благодетель вы наш!

Глава 34.

Граждане судьи, по глазам вижу, не верите вы мне. Думаете, специально молчу про фальшивые деньги, признания избегаю, время ваше хитромудро расходую на безумные разговоры. Нет, не так! Всё в нашем мире связано, всё друг с другом переплетено. И фальшивые деньги появляются только тогда, когда кончаются настоящие! А настоящие пока не закончились! И рассказал я только половину моего чистосердечного признания.

Итак, я уже готов был дать слабину, расстаться с канистрой – уж очень они со мной ласково разговаривали. Никто и никогда так ласков со мной не был, ни разу в жизни, граждане судьи. Немудрено, что расслабился, можно сказать – поплыл. Уже и руку протянул к канистре. Но раздался звонок в дверь.

В квартире появились еще двое.

Вы меня судите, жизнь мою судите, граждане судьи... Как же без подробностей?... Она ведь вся состоит из подробностей. И нельзя ли мне немного чаю? Хотя бы стаканчик? А то с четырех утра воды не дают... Подъем, проверка, автозак, судебный двор, каюта с намордником. Понимаю, вы – бюджетная организация, надо экономить воду. Готов содействовать. Буду рад половине стакана...

Короче говоря, заявили ко мне в гости Собакевичусы. Мадам Собакевичус и ее муж, собственной персоной. Редкий человек. В школе двоечником был, а как в политику пошел – оказалось, гений! Депутат, доктор наук, профессор. В академии управления преподает. По своей методике: только двоечников туда принимает. Мадам Собакевичус, пока муж за копейки трудится во власти, удачно торгует металлами; говорит, что муж мешает бизнесу, без него бы заработала больше.

Вошли в комнату, мэра и «Плюху» даже секундой внимания не удостоили. Тут же сами представились.

СОБАКЕВИЧУС. Депутат Собакевичус. А это – гражданка Собакевичус. Фамилия похожая, потому что – жена. Ты Башмаковер?

Я. Башмаковер.

СОБАКЕВИЧУС. Привет. Завещание написал?

Я. Написал.

СОБАКЕВИЧУС. Деньги кладбищу завещал?

Я. Завещал.

СОБАКЕВИЧУС. Мы пришли. Моя жена – хозяйка кладбища.

Я хотел от них убежать в туалет, но не успел дверь закрыть. Санузел у меня совмещенный, прямо напротив двери подвешен умывальник. Собакевичус меня животом припер к умывальнику, живот у него твердый, прямо чугунный. Налег на меня так, что сейчас или умывальник треснет, или позвоночник.

СОБАКЕВИЧУС. Людей любишь?

Я. Люблю.

СОБАКЕВИЧУС. А я – только по приговору. За что их любить? От них одни неприятности. А можешь ты мне сказать, что за дурость – кладбища? Зачем они нужны?

Я. Как зачем? Там ведь люди?

СОБАКЕВИЧУС. Там не люди, там – жмурики! Помер? – твоя проблема! Почему живые должны тратить на тебя землю и деньги? Ну, родился – ладно, живи скотина! Но после смерти зачем ты нужен? Какая от тебя польза отечеству? Никакой. Халява для могильщиков и производителей гробов! Дать в рыло тем и другим!

Я. Вы предлагаете гробы тоже отменить?

СОБАКЕВИЧУС. И немедленно! Какой смысл переводить деловую древесину?

Глава 35.

Дальше господин Собакевичус стал мне объяснять, как бездарно, тупо и бессмысленно мы тратим драгоценные ресурсы. Бумажного мешка вполне достаточно. В мешок – и в печку! Да и на мешок незачем тратиться. Голышом в крематорий – вот столбовая дорога нашей экономики. Пепел с костями продавать за границу. И тогда будет стране реальная польза. Три копейки с покойника, но в общей массе образуются реальные, живые, полновесные рубли.

Перспектива мне не понравилась. Но я не стал спорить. Поинтересовался: «*Вы пришли отказаться от денег? Я вас правильно понял?*»

СОБАКЕВИЧУС. Неправильно. Начинать проект с чего-то надо? Мы и начнем с крематория. Большое упущение. Город есть, а крематория нет. На ваши четыреста тысяч...

Я. Сто...

СОБАКЕВИЧУС. Хорошо, триста! Крематорий – сложное техническое сооружение. Нанотехнологии, физика твердого тела. Триста тысяч, и мы в нашем любимом городе, наконец, перестанем травить землю жмуриками! Спасать надо землю. И мы с вами её спасём, да!

Я. Вы полагаете, следует начинать именно с крематория?..

МАДАМ СОБАКЕВИЧУС. Для выдающихся граждан охотно сделаем исключение. Вам лично обустроим поляну, возведем мемориальчик. Проект практически готов. Предлагаю не дожидаться кончины, выстроить при жизни. Вдруг захочется улучшить и углубить? Красный мрамор, шесть на восемь, бронзовая звездочка, побалуем природным газом, соорудим вечный огонь. В особые дни – почетный караул за счет заведения, фейерверки-салюты к дате рождения или смерти. Обещаю, будет мило! Что скажете?

СОБАКЕВИЧУС. Моей жене доверяй. В нашем городе честного человека найти, что иголку в стоге сена. Поверь мне, никому верить нельзя. Даже при жизни. А уж после смерти! Всё украдут, всё пропьют, на могилу вместо вечного огня дохлую кошку бросят. Ворюги, христопродавцы кругом. Один мэр чего стоит. Вон стоит. Еще не предложил построить подвесной мост с венецианской баней? По морде вижу – предложил. Каков подлец? В городе нет порядочного нужника, а ему подвесные мосты подавай! Начальник полиции Ноздрюев – скотина номер два! Моя жена – хозяйка кладбища, уважаемый человек; я, депутат, член политического совета – а оба ездим по городу без сопровождения! Как какие-нибудь французишки или, того хуже, немчура. Срам! На кого равняемся? Ладно, Москва временно ополоумела, мигалки отменила. Так ты придумай моргалки или пукалки, собачью морду посади на капот, пусть лает. Уважь народ! Сделай что-нибудь для людей!

Так нет. Одно слово, что начальник полиции. А на деле – сволочь в погонах! Я к нему и так, и эдак, борзых щенков подарил. Щенков, подлец, взял, а вопрос не решает. Мол, накося-выкуси, дружок Собакевичус. Не положено! А его жене иметь в Париже четыре квартиры положено? И одну, я точно знаю, ей нотариус подарил. Такой весь из себя байкер, а квартиру в Париже подарил! Мерзавец Ноздрюев после этого все другие нотариальные конторы в городе закрыл. Криминал, видите ли, обнаружил. Один «Плюха» у нас честный, как Орлеанская дева. Плюхинскую контору оставил одну на весь город. Теперь кому чего надо – кладите денежки прямо «Плюхе» в карман. Хорошо? И того мало! Ноздрюев за «Плюху» племянницу свою замуж выдал. Ну, не свинья?

«ПЛЮХА». Нет, не свинья. А если вам наша партия не нравится, подите вон. Я правильно говорю, господин мэр?

МАНИИЛОВ. Приготовьтесь, госпожа Собакевичус. И господина Собакевичуса подготовьте. Завтра на кладбище приедут санитарный контроль, пожарный надзор и фининспекция. Будет жарко, госпожа Собакевичус, на вашем кладбище. Никакой крематорий не понадобится. Земля будет гореть под ногами.

СОБАКЕВИЧУС. Не ты меня в партию назначил, не ты меня выгонять будешь! Ишь, партизан нашелся. Погоди, с тебя твои французские штаны скоро скинут. Понабежали, скороходы. Не давай им денег, Башмаковер. Все сопрут. А вот жене моей доверься – честнейший человек.

Граждане судьи! Когда тебе чугунным животом к умывальнику прижали, водопроводный кран тебе на позвоночник давит, ты дышать перестаешь. Без кислорода глохнешь, в глазах темнеет, слепота наступает, помрачение ума. Начинаешь с жизнью прощаться. Перестал я их слышать и видеть. Грудная клетка трещит, как пивная бочка под бульдозером, позвоночник хрустит,

как бараночка на зубах. Думаю – вот оно, сбывается предсказание! Амбец пришел. Откидываю ласты.

Честнейшая мадам Собакевичус спасла меня от погибели. Мягкой лапкой отодвинула от меня чугунный живот господина Собакевичуса. Пока я умственному просветлению радовался, предложила вместо крематория построить на нашем кладбище точную копию кремлевской стены. Метров двести. С голубыми елочками. Для лучших людей города. И душеприказный майвзолейчик рядом возвести, для VIP-персон. Мавзолейчик сдавать в аренду на год, на два – кто сколько захочет полежать. Я от ее воркования очухался, в себя пришел, белый свет увидел – тут опять морда Собакевичуса прямо в лицо лезет.

Глава 36.

Пышет жаром дыхание господина Собакевичуса, огнедышит мне прямо в ноздри, опять глушит насмерть, извергается, дракон пучеглазый. Шепчет: *«Бандита нотариуса гони в шею. Завещание по буквам проверь. Любит, гад, буквочку перепутать, а потом наследников раздеть до кальсон!»*

Ужас меня обуял библейский. Возмечтал я тут снова увидеть шишечку еловую, голос ее услышать во спасение души. Но не успел. Опять в дверь, во входную, позвонили.

Глава 37.

Капитан Копеечкин, скромный худышка, нарисовался на пороге. Руки на груди молитвенно сложены, глазки закатились, бровки поднялись домиком... Представился: главный врач районной больницы, капитан медицинской службы в отставке! Явился для ознакомления лично к господину Башмакову, а также для приватной беседы.

Я его в дом не пустил, на лестничную площадку (вместе с канистрой! на всякий случай!) вышел. И

правильно сделал – слышу, за дверью, в квартире моей, вроде бы драка началась. Кто-то кого-то головой об стену бьет, кто-то кому-то волосы выдергивает. И вполголоса полуистощенно вопят.

А я на лестничной площадке главврачом капитаном Копеечкиным люблюсь. Он времени даром не теряет, тут же про завешание уточняет и здоровьем моим интересуется.

Здоровье отличное, говорю. Он загрустил, но скрывает. Предложил бесплатное обследование и оздоровительный массаж. Спасибо, говорю. Непременно воспользуюсь в необозримом будущем. Он еще больше помрачнел. *«В больнице – агония, – говорит. – Без ваших денег впадем в кому. Полный хрендец! У меня чудные специалисты, хирурги от бога: всё отрежут, всё пришьют. А вот с сиделками – беда! Некому больных выхаживать. Зарплаты такие, что... Приходится пьющих брать... И даже гулящих... Не сиделки, а прямо лежалки какие-то ... Иной гражданин охотно бы дал на лапу, но некому! Просто некому! Беда. Я и подумал... Если бы вы часть денег нам разрешили истратить, не дожидаясь кончины...»*

Глава 38.

Миллион. И кто тебя выдумал? Несешься по планете, как бешеная тройка, расступаются перед тобой народы и страны. Куда ты несешься, господин миллион? Ответь? Не дает ответа. Мчится сквозь годы и континенты, сводит с ума народы. Всякий сходит с ума, стоит к тебе приблизиться. Вот и наш несчастный народ сел в твою тройку... Зачем? Быстро ты летишь, о всемогущий миллион! Рвешь на части воздух, пылью вздымаешь землю, бегут за тобой следом ветры да ураганы. И никто уже не знает, как теперь добраться до середины Днепра...

Дал я денег отставному капитану медицинской службы Копеечкину. Отмотал ему сто метров в счет завещания. Чтобы сиделки были сиделками, а лежалки лежали в другом месте, не в больнице. Чтобы больной человек не боялся врача, как черт ладана... Всех прочих граждан попросил выйти вон, не солоно хлебавши... Как-то они меня напугали. Что ни план, то какая-то Химера... Им бы сначала канавы научиться закапывать. Замучили людей канавами. Куда ни пойдешь – обязательно попадаешь в канаву. Что на родном дворе, что на Кремлевском подворье. Из дому страшно выбираться. Некоторым канavam по двести лет. Юбилейные канавы, можно сказать. Такое ощущение, для кое-кого главное в жизни – найти свою канаву. И рыть ее, пока здоровье позволяет. От Москвы до оффшора. Господа Маниилов и Собакевичус видно решили, что я для них – такая канава.

Барышня Коробкина меня выручила. Вернулась со своими чемоданами. Гостей из квартиры выставила на раз. Очень ловко это у нее получилось. Я, говорит, вещи новые принесла, сейчас примерять буду. И давай раздеваться. Мужики рты разинули, пятками к полу прилипли. А жены немедленно раздулись, как медузы, и давай всех из квартиры выгонять. Опытные жены у наших командиров. Руки мужикам заламывают так ловко, будто десять лет в ОМОНЕ служили.

Остались мы с Коробкиной наедине. Ой, что тут началось, граждане судьи! Два часа моя барышня платья на трусы меняла. Сначала стоя. Потом сидя. Потом лежа. Потом меня в свое белье одела и под пластинку Вагнера «Полет валькирий» стала учить летать. Позвольте, граждане судьи, сделать антинаучное заявление, но я полетел наяву. Долетел до кухни и вернулся обратно. Без применения авиации, на чистой порнографии. После приземления она мне домик в Коломне показала, фото из журнала. Всего триста тысяч баксов. Поинтересовалась, не хочу ли купить. Мол, зачем умирать через пять месяцев в

гнилой хрущобе? Можно благородно откинуться, в уютном семейном гнездышке, как медицина рекомендует. Домик хороший, цена доступная.

Глава 39.

Тут моя еловая шишка юлой завертелась в голове! Я намек понял. Рано утром побежал прятать деньги. Записку барышне Коробкиной оставил: «Ушел в магазин за продуктами», взял канистру и был таков, пока она не проснулась. Показалось мне, что под руководством Коробкиной я и трех месяцев не проживу. Закончусь через две недели естественным путем. И знаете, не жалко! Оторвался бы по полной, дедуля! Но у меня были планы на оставшиеся триста тысяч.

Мечту я увидел. Решил обрадовать народ своими похоронами! Мало праздников у людей. Плохие совсем стали праздники. К новым – доверия нет, старые – начинку утеряти. Что ни праздник – сплошное огорчение. Решил подарить народу Халяву. Настоящую Большую Халяву, Супер-Мега-Халяву, такую, чтобы память о ней осталась в веках. Ну, и немножечко обо мне чтобы помнили. Мол, жил да был такой гражданин Башмаковер. Неважно жил. Скучно. А подход сказочно! Целый город три дня не просыхал под музыку Вивальди. Такие были у меня похоронно-поминочные планы...

Сбежал я от Коробкиной вместе с канистрой и направился в очень крутой банк. Городок у нас маленький. А банки большие. Экономическая зона. Ну, вы в курсе. На зоне – сами знаете, свои порядки.

Глава 40.

На подходе к банку меня, конечно, полицейский мордой на тротуар положил, руки наручниками сковал – канистра его напугала. Жизнь у нас такая, что террористы всюду мерещатся. Мне тоже мерещатся. Я на полицейского не обиделся.

А он, тем временем, начальству звонит по рации, предметно интересуется: меня сразу пристрелить, или живым задерживать. Начальство повелело канистру осмотреть в отдалении. Полицейский, естественно, перепугался, меня расковал, сам отошел на пятьдесят метров – мушку автомата мне в лоб направил. Открывай, приказывает. Я открыл. Ниточку ему показал с зелеными фантиками. Он прослезился. Начальство на нас обоих через видеонаблюдение поглядело – ту же все нарисовались рядом с моей канистрой. Извинились. Кофе с булочкой поднесли. Арендовал я банковский сейф сроком на месяц. Запер в сейфе канистру. Пришлось, правда, за это полтора метра зеленых отстегнуть (отрезать). Зато спокойно.

Вернулся домой, а возле дома меня поджидают жены-мироносицы. Аж четыре штуки в одной песочнице. Мадам Манилова, мадам «Плюха», мадам Ноздрюева и мадам Собакевичус. Как говорится, дыша духами и туманами.

Духи убойные, туманы слезоточивые. Я же не знал, что к дамочкам без противогаза и психологической защиты приближаться нельзя. Генеральские жены, особое биологическое оружие. Попал в зону поражения. И пропал.

Стали дамы плечом к плечу. В руках букетики. Смотрят ласково. Улыбаются и щебечут. Улыбаются и щебечут.

У нас же теперь как? У власти – бомжи. Нищие мужички на ржавых «Жигулях». А дома у них – гениальные бабы. Такие бизнес-леди, что закачаешься. У одной миллиард, у другой – два, у третьей, глядишь – уже четыре. И главное – настоящие русские бабы, душевные, заботливые. Ни одна своего божемужика не бросит! Наоборот: любят, холят, лелеют. Дворцы им дарят, яхты, самолеты, конюшни. Декабристки!

Тут отдельные товарищи за большие деньги ищут национальную идею. Вот она, берите бесплатно: «Девушки, любите нищих!» Представили? Новая жизнь. Ничего за деньги, все по любви. Райские кущи!

Теперь вообразите пейзаж: девять миллиардов долларов сидят у меня под окном в песочнице. И каждый миллиард меня жарко целует. Обклеили поцелуями от носа до ушей. Обложили цветами. Усадили с собой рядом в песочницу, и давай выводить рулады. Насчет денег, естественно. Сначала весело, по-птичь. Потом умно, по-кошачьи. Душистыми запахами меня обволакивают, туманами очаровывают.

Я даже сам не понял, как вместе с ними в банк вернулся и семьсот метров наличных им своими руками отдал. В пять минут охмурили меня бизнес-дамы. Такие, я вам скажу, вумены... Не иначе, как их в партийной школе гипнозу обучали. Или тантрическому сексу.

Глава 41.

Вернулся я домой без денег, но в отличном настроении. Остатки сексуально-партийного гипноза умом пережевываю. Вхожу домой, а моя Коробкина уже проснулась. Лежит на диване, рыдает в голос. Слышу музыку. На проигрывателе – любимая пластинка вращается. «Травиата», Виолетта поет, с жизнью расстается.

«Чего плачешь?» - спрашиваю. «Девочку жалко, - отвечает. – А она кто?» «Проститутка», - говорю. «Я тоже проститутка...» - и рыдает, рыдает. «В каком смысле?» - спрашиваю. «В прямом. Девочка по вызову. Меня к тебе «Плюха» отправил. Наследство твое наследовать. А я не знала, что про проституток оперы пишут». «Пишут, - отвечаю. – Про хороших людей все пишут, и оперы, и романы. «Воскресение» графа Толстого почитай, тебе понравится.» «Хочу быть хорошей, - рыдает. – Прости меня Башмаков. Я замуж хочу. Давно

хочу. Ребеночка хочу. Давай родим ребеночка? Ты ему свой миллион оставишь». «Нету, - говорю, -миллиона. Отдал семьсот тысяч. Все».

Она практически не удивилась. Говорит: « Я согласна и на триста тысяч. Поживу с тобой семейной жизнью, хотя бы пять месяцев. С тобой можно, ты не дерешься... Увидишь своего ребеночка на ультразвуке, оставишь ему триста тысяч и уйдешь. Каюсь перед тобой: они все мои клиенты, и Манишилов, и «Плюха», и Собакивичус, и Ноздрюев, и зять его Меджуев... Все импотенты. Называют меня волшебным коробочком. Я им в шампанское виагру подбрасываю. Они счастливы, дураки. Если ты на мне женишься, я с работы уволюсь. Буду честной женой ... Они приказали выйти за тебя замуж и отравить. Мы их обманем... Я выйду за тебя замуж, и не отравлю! Ты мне веришь? Хотел подарить городу чудо-поминки? Лучшие подари ему чудо-свадьбу! Подари мне свадьбу, Башмаковер...»

Глава 42.

Знаете что, граждане судьи? Я ей поверил. И предложение ее мне понравилось: вместо супер-поминок устроить мега-свадьбу. Но огорчил меня Вова Чипчиков. Был когда-то такой талантливый абонент в моей библиотеке. Пирожки любил и книги читал. Я им немножечко гордился. На свою беду дал ему почитать Дейла Карнеги «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». Я ее за свои кровные на черном рынке купил. Она тогда для служебного пользования была. Учила партократов, как без напряжения управлять быдлом. Вова книжечку на четыре куска разорвал, первый кусок дал одноклассникам прочитать бесплатно. А вот за второй кусок потребовал три рубля. За третий – пять. Четвертый пошел а червонец. Через месяц заработал денег на бригаду машинисток, посадил их книжку размножать. Тогда самиздатские книжки в большом ходу были. Наладил

продажу. К выпускным экзаменам имел первый мешок рублей. Положил под кровать. В те времена много мешков с деньгами лежало под кроватями.

Через три года после школы обзавелся Чипчиков позолоченным лимузином. За что и получил прозвище Вова Золоченый. Безумные были времена. Тогда многие сначала джинсы в кастрюлях варили, а потом банки открывали.

Пока дураки искали смыслы новой жизни, умные люди страну делили. Чипчиков на позолоченной машине уехал в столицу, казино открыл. По праздникам из того казино мне пирожки присылал – каждый год. Большую корзину пирожков с цветами и ленточками. И знаете что? Чудной у него был повар. В пирожках деньги запекал. Иногда Чипчикова показывали по телевизору, там я его и видел. А тут вдруг звонит телефон. Вова Золоченый, собственной персоной.

Я его сначала не узнал. Слышу в телефоне слова из другой любимой книги: *«Дяденька, дайте миллион!»*
Я. Кто вы такой? У меня нет миллиона.

ЧИПЧИКОВ. Прибедняетесь? Миллион-то баксов скоммуниздили?! Дяденька, это я, Вова! Чипчиков моя фамилия!

БАШМАКОВЕР. От... куда знаете... про миллион?

ЧИПЧИКОВ. Вокруг вас нехорошее дело замутилось, дяденька. Деньжищи хорошо спрятали? Дома сидите, никуда не ходите. Они к вам Настю-клофелиницу послали. У нее в Москве кликуха КоробОчек, потому что в её ридикюле всегда лежит коробок с клофелином. Заклинаю, никаких баб и случайных знакомств на улице! Она уже сорок человек дотла разорила, догола раздела и в тарабумбию отправила. Вы же не хотите стать сорок первым?

Хотел я спросить, как она выглядит, да не стал задавать глупый вопрос. Сказал упавшим голосом: «Вова, она уже здесь...»

ЧИПЧИКОВ. Ничего не есть, не пить из её рук! Я еду! Учитель! Запритесь в туалете, сидите молча, ждите меня! Никаких слов! Никаких телодвижений! Возможно, они снимают видео! Дверь не открывайте, ни милиции, ни полиции – никому! Учитель, это серьезно! Вы – на крючке! Баба – наживка! Глотать нельзя, выплевывать!

Глава 43.

Все сделал, как было приказано. В туалете заперся. Коробкина к дверям туалета подходит. Спрашивает масляным голосом:

КОРОБКИНА. Мышоночек-Баשמаченочек, ты тут?

Я. Молчи, клофелиница!

КОРОБКИНА. Сам подумай, разве я тебя не люблю?

Я. Штампа в паспорте ждешь. А потом...

КОРОБКИНА. Глупенький, тебе- то чего бояться? И так через пять месяцев помрешь. Милый, у тебя проблемы с желудком? Дать таблеточку?

Я. Твоей таблеточки мне только не хватало.

Господи, ты умный. Ответь: почему у меня совсем нет друзей? Куда все подевались? Кто помер – понятное дело, в моем возрасте это случается... Но полно живых... Куда все разбежались? Одни разбогатели и сразу исчезли... Как будто бояться, что я у них денег попрошу. Другие обнищали и всех ненавидят, даже меня... А я им сорок лет назад Булгакова давал читать, «Мастер и Маргарита», журнальный вариант. И Солженицына «Один день Ивана Денисовича», журнальный вариант. Ахматову «Реквием», Гумилева из Самиздата... У меня много чего было. Ве приходили, дружили, казалось – любят меня... А

сейчас позвонить некому. «Извини, я в Африке, охочусь на слонов. Приеду – расскажу»... И ведь знает, собака, что никогда не приедет. Чего сюда ездить, здесь слонов нет. Одни козлы и крокодилы в юбках.

Я не вписываюсь в бизнес-план. Неужели правда, что родина там, где деньги лежат?... Может, я заблуждался? Может, не было у меня друзей? Я с ними дружил, а они со мной – нет? Так бывает. Дружба тоже умирает. Умирает же любовь? Цветы умирают. Зима и лето умирают. Всё умирает. Остаешься один. За окном – другое время года. Не зима, не лето, не осень, не весна. Жизнь прошла. А ты и не заметил... Время дожития.

КОРОБКИНА. Мышоночек-Баשמаченочек, ты с кем разговариваешь? Со мной?

Я. Молчи, уголовница. С богом разговариваю.

КОРОБКИНА. Не надо с богом говорить в сортире. Ты должен мне верить. Мы поженимся. И я рожу тебе ребеночка. Ты увидишь его на экране УЗИ. Открой дверь, выходи из туалета, Мышоночек-Баשמаченочек.

Глава 44.

Очень просто жить без денег. Трудно жить без желаний. А когда от них избавишься, деньги почти не нужны.

Я сумел избавиться от желаний. Давно. Уверенно. Безнадежно. Зачем свалилось на мою голову испытание спортивно сумкой?

Приехал Вова Чипчиков. Он умеет быть очень убедительным, когда этого хочет. Обидел Коробкину. Несправедливо обидел. Я сказал ему, что он не прав. Что люди меняются. Что сорок мужчин тому назад Коробкина была плохим человеком. А теперь хочет раскаться. И стать хорошей. Как Мария Магдалина. Надо дать ей шанс.

ЧИПЧИКОВ. Если она – Мария Магдалина, то вы – Иисус Христос? Я правильно понял? Давно приехали из Назарта?

БАШМАКОВЕР. Я ей верю. Ей незачем травить меня. Миллиона уже нет.

ЧИПЧИКОВ. Нет? Как нет?

БАШМАКОВЕР. Раздал.

ЧИПЧИКОВ. Кому?

БАШМАКОВЕР. Людям.

ЧИПЧИКОВ. Список, пожалуйста. Расписки хоть получили?

БАШМАКОВЕР. А надо было?

ЧИПЧИКОВ. В наше время? Как можно! Себе-то хоть что-то оставили?

БАШМАКОВЕР. Триста тысяч.

ЧИПЧИКОВ. Слава богу. Надеюсь, долларов?

БАШМАКОВЕР. За триста тысяч не убивают.

ЧИПЧИКОВ. Еще как убивают. Где деньги?

БАШМАКОВЕР. Вова, я благодарен за заботу, но...

ЧИПЧИКОВ. Благодарить будете потом. Деньги дома?

БАШМАКОВЕР. Нет. В банке.

ЧИПЧИКОВ. Еще раз слава богу. Паспорт с собой?

БАШМАКОВЕР. С собой.

ЧИПЧИКОВ. Вы молодец! Поехали! Пообедаем! Все обсудим! И через два часа я вам устрою автокатастрофу. Вы трагически погибнете! Несчастный случай на дороге. Мы вас похороним, вы исчезнете навсегда, вместе с деньгами. Потом воскреснете под другой фамилией и с деньгами в кармане. Очень удобно. Многие так делают. Заодно увидим: ваша Магдалина рыдает от горя, или ищет баксы со зверским лицом?! Обещаю, она даже не придет на похороны!

БАШМАКОВЕР. Жестоко.

ЧИПЧИКОВ. Ни капельки. Ваш коллега из Назарета всех любил, но ни на ком не женился. Задумайтесь, почему?

БАШМАКОВЕР. Хорошо. Я согласен на автокатастрофу. С одним условием. Поминки пройдут по-моему!

ЧИПЧИКОВ. Поминки – это святое. Похороним, выпьем, закусим. Что? Вы чем-то недовольны?

Глава 45.

Со мной так часто бывает: я соглашаюсь, а потом приходит в голову главная мысль.

Я. Кто будет лежать в гробу?

ЧИПЧИКОВ. Вы!

Я. Я не умею лежать в гробу... И, потом, верю в приметы...

ЧИПЧИКОВ. Понял. Придется кого-нибудь зарезать и похоронить вместо вас!

Я. Вы шутите?

ЧИПЧИКОВ. Как можно шутить на похоронах!

Глава 46.

Я еще не говорил, что Чипчиков гений? Так вот, он – гений.

Вообразите себе, граждане судьи, ритуальный зал. На постаменте стоит пустой лакированный гроб без крышки. Гроб дорогой, расписан под гжель. Сотрудница ритуального агентства, она же и организатор панихиды, профессиональная печальница, ждет усопшего. И вот в зал входит Чипчиков. Объясняет ей, что имеется проблема. Покойный погиб ужасной смертью. На него рухнула бетономешалка. Восемь тонн отборного бетона.

ПЕЧАЛЬНИЦА. Понимаю. Не волнуйтесь. Мы тут всякое повидали.

ЧИПЧИКОВ. Боюсь, вы ошибаетесь.

Чипчиков подает знак рукой. Двое носильщиков вносят в ритуальный зал бетонный блок, из торца которого торчат ноги в черных носках и черных ботинках. Блок чуть меньше двух метров длиной, имеет

прямоугольное сечение. Чипчиков просит носильщиков уложить бетонную чушку в гроб.

Бетон, видите ли, застыл, пока ждали «Скорую помощь». Вынуть покойного не представилось возможным – без разрушения тела. И тогда родственники решили вырубить чушку с ногами.

ПЕЧАЛЬНИЦА. А кто тут родственники?

ЧИПЧИКОВ. Я.

ПЕЧАЛЬНИЦА. Разрешите начинать?

Так и похоронили память о гражданине Башмаковере, в бетонном макинтоше, украшенном фальшивыми ногами в парадной обуви.

Кстати, Чипчиков оказался совершенно прав. Он хоронил меня в полном одиночестве, проводил гроб к могиле под звуки духового оркестра.

Я наблюдал за собственными похоронами издалека. Чипчиков обрядил меня в плащ, парик, хасидскую шляпу и бондовские черные очки. Маскировочный облик дополняла густая седая подвесная борода, сделавшая меня похожим на химика Менделеева. Сердце мое разрывалось от жалости к самому себе. Коробкина презрела похороны. Даже крохотного веночка с надписью : «Прощай, любимый», – не прислала. Исчезла, как тать в ночи. Мои страдания усугублял оркестр – играл любимую «Травиату» в похоронном варианте. Не сомневаюсь – музыку выбрал Чипчиков.

Я позволил себе приблизиться к могиле, когда в нее укладывали гроб, расписанный под хохлому. Прислонился к Чипчикову, уронил ему на плечо повинную голову в бороде и шляпе.

Я. Она не пришла... Это ужасно...

ЧИПЧИКОВ. Это прекрасно! По данным разведки, ваша Магдалина отвалила в Москву.

Я. Смените музыку. Это жестоко.

ЧИПЧИКОВ. Хотел намекнуть вам, что «Травиата» – лживая опера. Не следует подражать её сюжетам. Проститутки бывают святыми только на сцене и в Библии. В жизни я таких не встречал. Пойдемте отсюда, учитель. Нас ожидает увлекательная прогулка по библейским местам!

Глава 47.

Прогулка началась ужасно. Мы посетили мою квартиру. Она была опечатана. Вова Чипчиков нагло сорвал бумажку с печатями, открыл дверь моим ключом и показал мне... Боже мой, не думал, что в моей хрущовке можно учинить такой разгром. Диван, подушки, одеяла были изрезаны ножницами. Перья летали над головой. Если бы я был художником, я бы их выкрасил в серое... Чтобы стали похожи на летающих дохлых крыс и соответствовали моменту.

Дохлые крысы на развалинах жизни... Половые доски вырваны с мясом, содраны со стен обои, раскурочена мебель. Даже двери... Я и не предполагал, что двери у нас картонные, пустые внутри... Книги... любимые книги валялись под ногами, униженные, оскорбленные и снова униженные... Коробкина, мой Волшебный Коробочек – исчезла. Совсем исчезла.

«Не переживайте, добрый человек из Назарета, - сказал мне великодушный Чипчиков. – Ваша Мария Магдалина не знала, что вы воскреснете. Если бы знала – оставила бы вам прощальное письмо!»

Я. Но зачем она разгромила квартиру?

ЧИПЧИКОВ. Искала триста тысяч. Она же знала, что у вас остались триста тысяч долларов? Но не знала, где они лежат.

Затем Вова успокоил меня окончательно. Объяснил: не стоит переживать по поводу квартиры. Потому что она теперь не моя. *«Как не моя? – удивился я. – А чья?» «Перешла в доход государства. Вы же умерли?»*

Я сдал ваш паспорт, получил свидетельство о смерти. Без этого не пускают на кладбище. Из квартиры вас выписали. Наследников нет. Квартиру, полагаю, уже кому-то продали. У нас это быстро!» - «И где я буду жить?» – спросил я. – «В раю!»- сказал Вова Чипчиков. - Сначала в раю, а потом посмотрим!»

Я. Книги забрать можно?

ЧИПЧИКОВ. Нельзя. Ваши книги тоже перешли в доход государства. Не надо грабить государство. Оно этого не любит.

Глава 48.

Я хотел устроить людям праздник. Я подарил им праздник. На все оставшиеся деньги. Для этого лежали в канистре триста тысяч долларов. Чтобы напоить и накормить голодных и жаждущих. Чтобы Пласидо Доминго пел не для рублёвских, а для моих соседей по дому, улице, городу. Я повелел устроить райские кущи на одной, отдельно взятой городской территории. Подходя к дверям Дома-дворца для культуры, я уже слышал Вивальди-оркестр, видел чудную улыбку Спивакова, уже болгарский соловей Киркоров пел нам про русские березы. Бесподобный Вова Чипчиков обещал мне все организовать.

Никто не пришел на кладбище хоронить меня, потому что жители стояли в огромной очереди к Дому-дворцу. Очередь извивалась по улицам, скверам, площадям, тысячи людей ждали беспримечной халявы, слухи о которой свели с ума город. Очередь утыкалась в греческую колоннаду центрального входа и исчезала за дубовыми дверями с бронзовыми ручками. Там, в главном театральном зале, в репетиционных комнатах, по всем этажам и коридорам были накрыты столы, о которых и повествовали гомерические слухи. Рябчики с ананасами, поросята с яблоками и морошкой, копченая рыба, соленая рыба, вареная рыба, жареная рыба,

тридцать два сорта колбасной нарезки, шашлыки на ребрышках, шашлыки по-карски, шашлыки из осетрины, баранины, свинины, трехметровый торт-мороженое, и просто торт бисквитный с фруктами, морские гады съедобные типа устриц, а также омары, мидии, морские гребешки, к ним в пандан супчик из акульих плавников, сладости восточные, сладости средиземноморские, шоколад горячий, шоколад холодный, горький и сладкий, а также молочный, с миндалем, изюмом и лесными орехами – так вот, ничего этого на столах не было.

А выпивка? Бутылки, которые стоят на столах, как гвардейцы на Красной площади во время парада? Бутылки всех цветов радуги, доставленные из Франции, Испании, Италии, Англии, обеих Америк, кислые сладкие, сухие и мокрые, крепленные и натуральные, легкие и дальнобойные, и даже теплая японская водка «сакэ» – где они?

Я сильно огорчился, войдя внутрь.

Все, о чем я мечтал, находилось в кабинете директора, где накрыли столы для VIP-персон, лучших людей города.

А на остальных столах Дома-дворца пузырились бутерброды с вареной колбасой и звенели дешевым стеклом батареи паленой водки.

Глава 49.

Огорчило и то, что в Дом культуры пускали за деньги. Билеты продавали с объяснением, будто бы продажа благотворительная, собираются средства на надгробный памятник почетному жителю города Башмакову, то есть – мне.

Должен прямо сказать, граждане судьи – организаторы прискорбно ввали. Я под следствием уже второй год, памятника не было, нет и, подозреваю, никогда не будет.

Я купил билетик, чтобы пройти на свои поминки. Промолчал по поводу мзды. Поверил нахальникам. Я вообще доверчивый, граждане судьи. Когда мне врут с честными глазами, я обязательно верю. Обожаю честные глаза, господа, каюсь!

Так что я там был. Мед-пиво не пил. И по усам не текло – а уж в рот... В рот попало ведро горчицы, когда я увидел бутерброды и паленую водку. То было, однако, не последнее огорчение. Появился на сцене зять начальника милиции и потомственный сукин сын по фамилии Меджуев. Хозяин театрального агентства. Это ему Вова Чипчиков отдал триста тысяч баксов за праздник мечты. Зять Меджуев вышел на сцену и придушенным голосом объявил, что по техническим причинам не будет Пласидо Доминго, Вивальди-оркестра, улыбки Спивакова. Даже король березового ситца Филя отсутствует. Виной всему – нелетная погода.

И, хотя над Домом-дворцом развесил господь для просушки голубую простынь неба, солнечный круг неистово и ярко дырявил лучами окрестности – пояснил зятек Меджуев, что двадцать пять антициклонов одновременно обрушились на Москву. Столицу нашей родины затопило по крышу Кремля. Ленин уплыл из Мавзолея. Самолеты и поезда утонули до лучших времен. Возмутительная погода помешала доставить на торжество звезд мирового вокала и мегазвезду Филю. И все же стихия не может испортить наш праздник! Весь вечер на сцене – джаз-банд городского ресторана «Калинка-малинка» под управлением Сени Бочинского. Поприветствуем друга Сенью и его джаз-банду! Скучно не будет, дамы и господа!

Глава 50.

Доложу я вам, Вова Чипчиков обильно кормил меня горчицей до позднего вечера. Всё он, конечно, знал заранее и про Меджуева, и про Доминго, и про московские

ураганы. Но не вмешивался в процесс, ибо устроил для меня показательный мастер-класс. Танцы для простодушных.

Привел, чуть погодя, на VIP-стоянку для автомобилей, показал линейку шикарных новых лакированных лимузинов, от «Бугатти» до «Феррари». Объяснил, что закуплены они совсем недавно лучшими людьми города и являются материализацией тех самых денег, которые я выдал женам-мироносицам, бизнес-подругам лучших людей. Особенно сильно обидел меня отставной капитан медицинской службы Копеечкин, главный врач единственной городской больницы. Так слезно просил, так убедительно бровки складывал. А купил на мои деньги слегка бэушный «Бентли» в королевской комплектации. Есть такой «Бентли», с туалетом, душевой кабиной и встроенной реанимацией. Если обращать внимание на встроенную реанимацию, то медицинский аспект в покупке был. Но для очень узкого круга лиц.

Чипчиков не издевался надо мной, он шутил. Но его шутки били чугунной кувалдой по моей растерянной голове.

ЧИПЧИКОВ. Что я вам скажу: вы не вовремя воскресли, гражданин Башмаковер! А, может быть, вообще не вовремя родились.

Глава 51.

Тут, граждане судьи, я действительно воскрес. Подвернулась под руку швабра, одна из тех, которыми уборщицы моют полы. Взял швабру и пошел в кабинет директора, где самые уважаемые люди нашего города обмывали... Трудно сказать, что они обмывали. То ли мои похороны, то ли свои новые машины. Должен сказать, они вели себя пристойно. Первый тост выпили за мое здоровье.

Мое появление со шваброй им не понравилось. Кругом – лепнина, хрусталь, белый стол с позолотой, кресла, обитые французским гобеленом, зеркала. И грязная швабра вдруг тычет в рожу.

Позвольте, граждане судьи, я вам озвучу тост господина Маниилова. Очень мне понравились отдельные строки.

МАНИИЛОВ. Дамы и господа! Сегодня нас безвременно покинул дорогой друг Башмаков. Стал жертвой обстоятельств и скорбного бесчувствия водителя бетономешалки. Спросите меня, можно ли выжить, когда на тебя упала бетономешалка? Отвечу: каждый из присутствующих здесь легко бы выплыл из жидкого бетона, и мы это хорошо знаем. Слабоват оказался товарищ Башмаков. Недостоин своего миллиона. Кстати, хочу спросить, кто заказал бетономешалку? Не вы ли, господин Собакевичус?

Тут началось. Я размахивал шваброй, Чипчиков ловил меня, уберегая от уголовной статьи за членовредительство, бизнес-леди визжали.

Вознамерился я еще долго творить благонамеренные глупости. Вмешался Вова Чипчиков. Оказалось, он знает какой-то особый язык, который они понимают.

Вова в пять минут, как он выразился, «отжал» деньги. Нам принесли спортивную сумку, завидев которую я вздрогнул. Это была другая сумка, но у меня, видимо, уже образовалась аллергия на спортивные принадлежности.

Зять Меджуев поставил сумку на пол, нашел игривое место в извилистом рисуночке наборного паркета. Чипчиков проверил содержимое, увидел зеленые банковские упаковки, улыбнулся, поднял голову. Все улыбались ему в ответ. Лучшие люди города нам улыбались. Когда они тебе улыбаются, самое безопасное

место – кабина танка с задраенными люками. А я и не понял.

Глава 52.

Мы вышли из Дома-дворца под песнопения счастливых сограждан. Напрасно я переживал. Оказалось, бутерброды с варенкой и паленая водка тоже могут сделать людей счастливыми.

Чипчиков усадил меня в золоченую машину, бросил спортивную сумку мне на колени и пошел садиться за руль. Но не дошел. Беззвучная и невидимая пуля настигла его у капота. Я помню его последний взгляд, граждане судьи. И знаете что? Это не был взгляд огорченного человека. Он явно собирался и в другом, ином мире, найти себе достойное место.

А я схватил сумку и побежал. Несколько удивило, почему меня никто не догоняет. Не отбирает сумку. Не заковычивает в наручники.

Мне и в голову не могло придти, что доллары в сумке фальшивые. Да и как я мог до этого додуматься, если сам Вова Чипчиков их принял?

Я практически закончил, граждане судьи. Вас, конечно, интересует, что было со мной дальше? В кармане у меня лежал новый паспорт, который мне выдал Чипчиков. Паспорт на фамилию Хлестакера. Фамилия странная, но как вы понимаете, форма моего носа накладывает ограничения. Так что я – это не я, граждане судьи! Сочувствую. Вы поймали некоего Хлестакера и судите его, а он – миф, плод чужого и наглого воображения.

Я поехал к вам сюда, в Москву. Ехал в Москву по двум причинам. Во-первых, в большом городе легче снять квартиру и затеряться. А, во-вторых, я должен был выкупить обратно свою книгу, любимого Гоголя. Который кстати, евреев не любил, а я вот его люблю, и не могу этого логически объяснить.

Я пришел к нему на бульвар и сказал: зачем ты их всех выдумал? Если бы ты их не выдумал, может быть, их вовсе бы не было?

Он умеет молчать, Николай Васильевич... Я пошел в букинистический магазин выкупать книгу, которую посмел обменять на триста тысяч сребреников. Первое издание 1842 года. «Похождение Чичикова, или Мертвые души». Наше русское Евангелие...

Книга лежала на витрине. «Беру, - сказал я. – Вот триста тысяч». «Книга стоит два миллиона», - ответили мне. «Как два миллиона? Вы же ее купили у меня за триста тысяч рублей?» «Нет денег – берите «Записки сумасшедшего», они дешевле!» «Хорошо, - сказал я, - плачу два миллиона рублей. Но у меня только доллары. Возьмёте доллары?»

Тут мне хитренько улыбнулись и объяснили, что у нас в стране торговать за валюту запрещено законом. И друзья из полиции, которые меня прислали, чтобы отжать бизнес, пусть умоются. У них тоже есть друзья в полиции. «А банк – за углом!». Я ничего не понял про полицию, пошел менять деньги.

В банке за углом, с фальшивыми долларами в руках, меня и взяли ваши коллеги, граждане судьи.

Глава 53.

И вот я здесь, чтобы сказать вам: не умею делать фальшивые доллары. Русские деньги подделывать тоже не умею. Я честный человек. Но как сказал один умный писатель: когда страну захватывают бандиты, честность становится преступлением. Я не знаю, зачем господин Меджуев дал мне плохие деньги. Может быть, ему не хватает на молоко для детей. Может быть, у него больна мама, и нужны дорогие лекарства. Может быть, ему приказали. Я не в обиде на него. Все мы пытаемся выжить. Кто как может. Я, конечно, хотел бы задать вопрос: почему они там, а я – здесь? Но кому задать вопрос, не

знаю. И не понимаю, как жить, если вы – вдруг – меня отпустите на свободу. У меня совсем нет денег, и мне нечего есть. У меня нет квартиры, мне некуда приклонить голову. Я даже не смогу получить пенсию без паспорта. Паспорт Хлестакера у меня отобрали, а паспорт Башмакова не выдают, потому что Башмаков умер. Я пробовал доказать, что я – это я. Не получилось. Знаете почему? Ни один человек из моего города не подтвердил, кто я такой. Все сомневаются. Я не думаю, что причины и следствия может объяснить конспирология. Каждый человек имеет право сомневаться.

И знаете что? Когда мне на голову упал миллион, я обрадовался. Я подумал – судьба дала мне голос. Теперь могу и должен что-то сказать от имени тех, у кого все отняли. Нас много, тех, у кого отняли. Нас очень много, и мы молчим. У нас хроническая немота. Как говорить, если у тебя нет миллиона? Есть-пить надо, кормить детей надо, лечить больных родителей надо. И всё – на одну зарплату. Страшно ее потерять. А с миллионом – появляется голос. Он у меня появился, граждане судьбы. Он у меня появился, а я... Я хотел что-то сказать – за всех, за всех тех, кто молчит! И не сумел сказать ничего. Как это получилось? Почему я своими руками отдал им свой голос, этим новым святым, которых придумал Гоголь? Почему мы им молимся, не зная усталости?

Я мог что-то сделать. Я хотел что-то сделать. И не сумел ничего. Мое место здесь. Оставьте меня в тюрьме. Передайте партии и правительству – меня все устраивает. Мне здесь нравится: есть крыша над головой, трехразовое питание, небо в клеточку. Все хорошо. Очень хорошо. Уверяю вас – на пенсии хуже. Меня любят сокамерники, коллеги по несчастью и такие же, как я, бывшие люди. За что любят? Я помню много историй. Когда выдается свободная минутка, они окружают меня, и я им рассказываю о том, как...

... в ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки... В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод...

Я помню наизусть эти слова. Я произношу их в зловонном сортире, именуемом «камерой». Здесь я теперь живу. Здесь, видимо, закончу свои дни. Я произношу эти слова, и сорок голов, остриженных наголо, шепчут их вместе со мной.

Москва, март 2014

Исаак Фридберг родился в Вильнюсе. Писатель, кинорежиссер, драматург. В качестве сценариста участвовал в создании художественных фильмов — «Гвоздо на ветру», — «Пожелай мне нелетной погоды», — «Лесные фиалки». По своим сценариям он как режиссер поставил художественные фильмы — «Столкновение», «Дорогой Эдисон!», «Прогулка по эшафоту». В 1988 году вышла лента — «Кюлка», вызвавшая дискуссию в прессе.

Исаак Фридберг — автор сборника «Тихие праздники», «Здесь я!». В 1992 году вышел его документальный фильм «Художники еврейской диаспоры. Россия. XX век». В 2003 году — постановщик приключенческого сериала «Русские амазонки».

Опубликованы повести: «Здесь я!» (1996, «Дружба народов»), «Гимназистка» (1996, Киносценарии), «Бег по пересеченному времени» (1998, «Дружба народов»), «Розовые пятки Лионеллы» (2000, «Дружба народов»), роман-чик «Фанни» (2014, «Время и место»).

Вместе с режиссером Юлием Гусманом он работал над пьесой в связи со 100-летием со дня рождения замечательного актера Владимира Зельдина.

ГАРИ ЛАЙТ

НОВЫЕ СТИХИ

Созерцание

Проснуться в канадской глуши,
у моря, конечно – в провинции,
добравшись на старом пароме
вечером предыдущим...

Не клавиши – карандаши,
не latte, а кофе в принципе,
скрипят половицы в доме,
в окнах туман вездесущий.

Уставиться в горизонт,
размеру и рифмам потворствуя,
в строки, слова облекая
обжечься тем самым кофе,
забыв рассеяно зонт,
собравшись будто бы в горстку,
к пристани местной шагая
шептать на удачу строфы.

Прикинуть, а как оно было бы,
вот если не так, а этак –
ну, если бы изначально,
чиновник в тогдашнем Риме
сказал – в Америку, стало быть?
– Там слишком жаркое лето –
Канада добрей и печальней,
и вывел бы в бланке имя...

Пасьянс сложился иначе,
что, даже, в общем естественно,
загадки остались, пожалуй,
в языковых нюансах.

Поставленные задачи
решались вполне ответственно,
сухой остаток за малым
– всего ничего декаданса...

Но все же, периодически,
на переправах паромных,
не от того, что истина
прозрачна и полутональна,
пророчествующих стоически,
сочтешь наивно нескромными.
скорее от догмы, бисером
рассыпанной столь банально.

И вот, уже за фарватером,
проплыв считай половину,
жаждешь побыть в провинции
на островах туманных
тому, что в иллюминаторах
мерещится под турбины,
предпочитаешь театр, где в лицах
... и столь многогранно.

Приемлешь за дар приходящие
слова что становятся строфами,
глядишь на горные выступы,
с рыбачьей, просоленной пристани
забыв имена щемящие,
чреватые катастрофами...
И наполняется смыслом
казавшееся немислимым.

Когда исчезают видения
в очереди на посадку,
и острота восприятия
уходит куда-то в сторону

случившееся просветление,
как контур поверхности гладкой
стоном, как при зачатии
одарит примерно поровну.

Только морем сюда,
даже если открыты иные пути,
только морем, а после пешком,
и до каменных выступов Плаки.
Это памяти ранней слюда,
в ней надёжно застыл архетип,
Здесь Гагариных замочный дом,
Карасан, кипарисы и маки.
Вне таблиц умноженья
нехитрые рифмы слились,
и возник из кустов
непородистый серый котёнок,
вот и все достиженья,
по-гречески названный мыс
стал основой основ,
возникающей словно спросонок.
Аю-Даг как канва,
его можно коснуться рукой.
Птичьих скал силуэт –
мама все объяснит и расскажет...
Облекаясь в слова,
проникая морскою водой,
по прошествии лет
все идиллией кажется даже.
А могла по-иному
и вовсе сложиться судьба –
Александр Сергеевич
был бы здесь счастлив с Марией,
только всё невесомо
решается на небесах

нерешительность девичья
их разлучила Сибирью.
А поклон и наклон,
сослагателен он или нет,
и каким будет флаг,
как когда-то, и скоро в семнадцатом,
быть бы магии волн,
без орудий и скверных примет...
Как канва Аю-Даг...
Только морем сюда добираться

Ретроградное

Становлюсь ретроградом, а впрочем, всегда ведь и был
таковым,
не ведусь, не приемлю, практически не успеваю,
болью что баррикады, ведь ими чреваты раненья и дым,
героизм это здорово, горько – при этом порой убивают.

Восхищен и научным прогрессом и всем, что уже,
Даже в сфере услуг превзошло предсказанья Стругацких,
Но еще не придумали, что, если на вираже
остановится сердце... Таких еще нет инноваций.

В нашем будущем, в том что сегодня, реально сейчас,
до сих пор, нелюбовь, все равно как всегда остается собою,
не придумано средство, где взгляд, в совокупности с
лезвием фраз,
не оставит порезов и шрамов надолго в душе у обоих.

И что странно, но звезды по-прежнему столь далеки,
что падений их вовсе не хватит на все прозвучавшие в раз
пожеланья,
и скользит просмоленная лодка по старому руслу реки,
где вся прелесть лишь в том, что на всплеске весла
заострится вниманье.

Ретроградством своим не гнушаюсь, не каюсь, я в нем
сознаюсь,
застывать в янтаре нереально, но это отменно красиво,
словно детство с отрочеством манят в щемяще-саднящую
грусть,
где потерь еще нет, и старательно пишется счастье
курсивом.

Соответствие

Ефиму Лецинскому

The answer, my friend, is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind...
Bob Dylan

И власть, с утра до вечера,
Заученную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть...

Осип Мандельштам

Ответ развеян по ветру,
вопрос не прозвучал,
мой друг, – все это роетру,
но кто и с чем сличал...
В ответ приходит музыка,
когда ей в такт слова,
и в симбиозе с узами
допишется глава.
В истоках каждой фабулы
всегда живет сюжет,
а за припевом, стало быть
в тоннеле будет свет.
И если дождь обыденно,
по осени, вдоль крыш --

ты обо всем увиденном
с гитарой говоришь.
Такую собеседницу
ведь нужно заслужить,
покуда светло грезится
мы будем петь и жить.
Ответ развеян по ветру
так много лет назад,
и стрелки на хронометре
как в янтаре лежат.
Мы будем соответствовать,
но нам претит шаблон
«...Ах Александр Герцович...»
Везде, со всех сторон...

Haulover Beach

Флейтист Ростислав, созерцанию чужд, говорит о
высоком,
Погоде не внемля, которая вовсе исчезла к полудню,
Скрипачка Стефания потчует небо березовым соком,
Размеренно ищет в испанском венке соответствий по
месяцу грудню.
Они притворяются в том, что ни слова не знают по-
польски,
Так в общем удобней, не нужно стесняться намеренных
взглядов,
Скрипачка Стефания даже сквозь призму не выглядит
скользкой,
Пропал Ростислав, он всего-то хотел оказаться с ней
рядом...
Не так, где все явно, и в сторону Кубы глядят ареолы,
А так, чтобы кофе, и дождик осенний на улице Львова,
А Света- Стефания любит за чаем читать про престолы,
И ей нагота – не свобода, а даже скорее как будто оковы...
Они говорят по-английски про магию улиц Ки-Веста
О кошках, о том, что у дядюшки Хэма не кажется

праздным,
А Свете по сути так хочется быть вожделенной невестой,
А Ростик ей астры хотел бы дарить, вот и все соблазны.
Они притворяются, будто и вовсе не мыслят по-русски,
Но в ней ненароком, так явно и мило сквозит киевлянка,
А он, ошалевший от цвета волос, ощущает нагрузки
И вовсе не здесь, а давно уже с ней в переулках Таганки.
Он просит чуть слышно – не уходи, а она – никуда я не
денусь...
Он смотрит на волны, а после как в небо – в глаза не
мигая,
Она говорит – знаешь, что – отвернись, я пожалуй оденусь,
И верится им, что в четвертой случившейся жизни не
потеряют...

Однажды Францию насквозь
ещё не траченную смутой
в автомобиле – на авось,
что вовсе не «Париж-Дакар»
с той, первую ещё не врозь...
Не вышли книги... Атрибутом
ещё не стало ремесло,
в Москве романтики угар...

И по французской скоростной,
под сигаретку с рок-н-роллом
туда, к лазури берегов,
где все без комплексов, с листа,
сквозь Сент-Этьен, с его тоской
той детской, связанной с футболом,
под Авиньон, в котором кров
с вином и сыром, неспроста.

И вновь дорога, «шансонье
всяя Руси» глаголет правду,

без верха та, что за рулем,
она свободою пьяна,
а мили-километры-лье
летят, и тот полет оправдан,
ведь пролетает за окном
во снах живущая страна.

А утром море, и рассвет
над Ниццей небом воспаленным
сулил созвездие чудес
и по наитью не солгал...
С тех пор случилось много лет,
и быть во Францию влюбленным –
как в шторм взойти на волнорез,
и лицезреть усмешки скал...

*Конец июля прячется в дожди,
как собеседник в собственные мысли...*
И. Б.

Женщины, танцующие танго,
веско отличаются от прочих –
бедствуют они, либо пророчат,
время им воздаст, согласно рангу.
Веря только временно держащим,
в ритме они движутся по свету,
в Лиму прилетят, затем в Сиэтл,
в танце им спокойнее и слаще.

В прецедентах – правила милонги,
близость эфемерна и банальна,
все на грани в этой жизни бальной –
быт в Торонто, нелюбовь в Гонконге.
Посиделки в Вилледже у «Данте»,
перевод через Майдан, или из Лорки,

Борхеса от корки и до корки...
Пламенной подругой Команданте.

Женщины, танцующие танго, –
героини каверзных сюжетов
редко остаются у поэтов,
полагая, что прикрыли фланги...
Гладкого им пола, светлых мыслей,
Дочерей, послушных и щадящих,
Женского, причудливого счастья,
И полетов в дерзновенной выси.

В континентальных Ботанических
цветут сады Ее Величества,
ее Высочества, Сиятельства,
и несмотря на обстоятельства
смешна порой и незначительна
любовь к занятым существительным,
тем что таятся в одностишиях –
где много проще быть услышанным,
с начала века вопиющему
к нелепо-каверзному случаю –
многоэтажному, частичному,
мало потворствуя приличию,
он все вершится эпизодами,
на откуп географий отданный,
перешагнув десятилетия,
где чувствам верят междометия
всех межсезоний и безвременья,
есть, правда общность поколения...
Как эта общность притягательна,
жаль, что падеж бытует дательный,
три жизни, или сколько можно их,
травить винительно-предложными,
где нивелируется истина,

как десантирование в Приштину.
Прямая речь – всегда риторика,
как не взывай к «бедняге Йорику»,
к тому ж в грядущих послесловиях
нас обозначат в категориях
настолько чуждых восприятию,
что возведется к антипатии
наша приверженность иронии -
колибри, купола, бегонии...
Все много проще, и язычески,
ведь на аллеях ботанических
живут цветы ее Величества,
считает жизни метроном...

Гари Лайт родился в Киеве в 1967 году. С 1980 года живёт в США. По профессии - адвокат. Автор семи поэтических сборников: *—Верь*”, Москва, 1992; *—Voir Dire*”, Санкт-Петербург, 1993; *—Третъ*” Philadelphia, 1995; *—Город*”, совместно с Мариной Гарбер, Киев, 1997; *«Возвращения»*, Киев, 2002, исправ. и дополнен. – Киев, 2005; *«Lake Effect»*, Киев, 2012, *«Траектории»*, New York, 2013.

В 1998 году принят в Союз писателей Москвы. Участник антологий "Строфы Века-2", «Киев. Русская поэзия. XX век»" и «НАШКРЫМ», выпущенной в американском издательстве KRiK Publishing House (2014)

Его стихи публикуются в российской, украинской и зарубежной литературной периодике.

МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР

СТАРАЯ ПЛАСТИНКА

Весна 1964. Нью-Йорк

Молли спешила вниз по лестнице в надежде добежать до аудитории в отведенные для приличия пятнадцать профессорских минут. Опаздывала она немилосердно. Казалось, что в это утро все земные и небесные силы ополчились против нее. Мало того что муж улетал в командировку, так еще и дочь наотрез отказалась ехать на школьном автобусе под предлогом того, что вредные девчонки накануне стянули с ее пышных волос резинку и она получила от учительницы выговор за растрепанные волосы. Как и следовало ожидать, на обратном пути из аэропорта они с дочерью попали в пробку, и теперь Молли отчаянно пыталась наверстать потерянное время. Вместо того, чтобы сосредоточиться на предстоящей лекции о «Войне и мире» Толстого, она думала лишь о том, чтобы не загреметь с лестницы.

Лестница была старинная, железная, с отполированными до блеска тысячами ног ступенями и скользкая как каток. В самом ее низу маячила величественная фигура декана, который, в отличие от Молли, спускался уверенно и неторопливо. «Только встречи с ним не хватало», – пронеслось в голове у Молли, и тут она поскользнулась. Тщетно хватая руками воздух в отчаянии удержать равновесие, она со всего размаху влетела в спину декана. Спина не дрогнула, но голова его повернулась, глаза насмешливо сузились, а с трудом сдерживающий смех голос укоризненно произнес:

– Мисс Браун, как вам не стыдно нарушать правила дорожного движения!

Отлепившись от спины декана, Молли с облегчением извинилась.

– Поскольку я невольно спас вас от перелома шеи, то, разумеется, прощаю, – великодушно ответил декан. Зайдите ко мне после лекции. У меня для вас интересная новость. Вкупе с предложением, от которого вы вряд ли сможете отказаться.

Молли перевела дух, поблагодарила декана и уже спокойно вошла в аудиторию.

– Ну вот, собственно говоря, и все, – завершил свою короткую речь декан. – Надеюсь, ваши домочадцы возражать не будут. Поездка в мае, к этому времени вы уже и свой курс лекций закончите. Так что студенты не пострадают. А вам, я уверен, это будет чрезвычайно интересно. Две столицы, две недели... Тем более вы знаете русский. Ведь это первая групповая поездка американок в СССР по приглашению Комитета советских женщин!

– Кажется, в нем и первая женщина-космонавт состоит, Валентина Терешкова.

– Именно! И с ней увидите. А потом нам расскажете.

Незадолго до поездки, когда в кармане уже были и билет, и паспорт с визой, Молли поделилась информацией со студентами. Студенты проявили неумную заинтересованность и закидали ее вопросами. Молли пыталась, насколько могла, отвечать на них со знанием дела, хотя сама поездка до сей поры казалась ей туманной и не вполне реальной.

На последней лекции к ней подошел один из лучших студентов, Лайонел, с пластинкой в руке.

– Мисс Браун, – обратился он к ней, – вы можете взять эту пластинку с собой?

– А зачем? – удивилась Молли.

– Мне бы хотелось, чтобы вы ее подарили.

– Кому?

– Девушке. Желательно симпатичной. И которая поет. Если вы такую встретите.

– А вы романтик, Лайонел, – улыбнулась Молли и взяла пластинку. На одной ее стороне был хит «Let's twist again», на другой – до сих пор популярная «Maybellene».

– Но ведь это не женские песни, – заметила Молли.

– А это неважно. Зато под них можно танцевать. Просто если девушка умеет петь, значит, чувствует и музыку, и ритм. И в таком случае эти мелодии ей не могут не понравиться. Я думаю, там их еще не знают.

– Хорошо, – согласилась Молли. – Автограф не хотите оставить?

Лайонел взял карандаш и на бумажном кружке рядом с дырочкой убористым почерком написал: *Девушке моей мечты.*

Весна 1964. Москва

Две закадычные подружки, одноклассницы и соседки по подъезду, Кама и Капа, сидели в капиной комнате и репетировали диалог Гамлета и Горацио к завтрашнему уроку английского. Романтичная Кама, разделившая свое сердце пополам между Лоуренсом Оливье и Иннокентием Смоктуновским и знавшая подлинник Шекспира и перевод Пастернака практически наизусть, непрерывно поправляла Капу, которая, по ее мнению, текст выучила плохо и в силу этого произносила его без надлежащего пафоса.

– Ну что ты ко мне придираешься, – миролюбиво возражала Капа, – ведь Горацио не такой эмоциональный как Гамлет. Это тебе положен пафос, а мне нет.

– Не скажи, – парировала Кама. – Вот в этом месте Горацио даже очень переживает:

... yet once methought

It lifted up its head and did address

Itself to motion, like as it would speak;

But even then the morning cock crew loud,

*And at the sound it shrunk in haste away,
And vanish'd from our sight.**

- Как это у тебя здорово получается, – вздохнула Капа. –
Слушай, а ты сколько раз «Гамлета» смотрела?
Английский фильм не в счет, а наш?
– Четыре. И еще пойду.
– Не насмотрелась?
– Нет. Каждый раз открывается что-то новое. И лишний
раз убеждаешься, что все гениальное бессмертно.
– А какой у тебя любимый монолог? «*Быть или не быть*»?
– Нет, другой. – Кама откинулась на спинку дивана и с
грустным презрением продекламировала:

*How weary, stale, flat and unprofitable,
Seem to me all the uses of this world!
Fie on't! ah fie! 'tis an unweeded garden,
That grows to seed; things rank and gross in nature
Possess it merely. That it should come to this! ***

* Впрочем, на мгновенье
По повороту плеч и головы
Я заключил, что он не прочь ответить,
Но в это время закричал петух,
И он при этом звуке отшатнулся
И скрылся с глаз. (пер. Б. Пастернака)
(Здесь и далее прим. автора)

** Каким ничтожным, плоским и тупым
Мне кажется весь свет в своих стремленьях!
О мерзость! Как невыполотый сад,
Дай волю травам – зарастет бурьяном,
С такой же безраздельностью весь мир
Заполонили грубые начала. (пер. Б. Пастернака)

В этот момент в квартире громко зазвонил телефон, и они услышали голос Капиной мамы:

– Алло! Да, я вас слушаю. Да, понимаю... Когда? Завтра? В четыре? Да, конечно, смогу. Да, еще кого-нибудь? Детей? Да... да... всего доброго.

Через минуту дверь в комнату распахнулась.

– Кама, твоя мама дома?

– Дома. А что?

– Потом скажу. И Капина мама бросилась к телефону.

Девочки навострили уши.

– Галочка, вы не заняты? А завтра свободны? Вы мне нужны как воздух, – почти причитала Капина мама в телефонную трубку. – Можете спуститься? Да, вот все и обсудим.

– Мама, что случилось? Почему ты так разволновалась? И зачем нужна тетя Галя?

– Сейчас она придет, я все объясню. И вы мне тоже должны помочь.

Капа с Камой вытянулись во фронт и взяли под воображаемый козырек.

Спустя пять минут женский совет собрал кворум.

– Их двадцать человек, – объяснила Капина мама, – все преподаватели русской литературы и истории. Из разных университетов. Некоторые говорят по-русски, большинство нет. Все белые, за исключением одной негритянки. Кажется, она из Нового Орлеана. В Москве третий день, до этого были неделю в Ленинграде. И вот изъявили желание посетить типичный русский дом. Выбор пал на меня, поскольку у нас приличная квартира. Наша председатель сама хотела их принять, но они бы ни за что не поверили, что так живут простые люди.

– А мы такие простые академики, – прыснула Капа.

– А они простые профессора, – рассмеялась Камина мама,
– по американским понятиям мы принадлежим к одному классу.

– Вот, Галочка, хорошо, что вы у нас есть. Вы же были в Америке, посоветуйте, как лучше их принять.

– Аня, вы сказали, они приедут в четыре? Чай, фрукты, пирожные. Хотите, я эклеры испеку? Завтра с утра можем на рынок съездить, уже первая клубника появилась. Если свежих огурчиков достанем, сделаем для шику маленькие бутербродики. Цветов прикупим, девочек принарядим, сами перышки почистим. Все будет о'кей. Главное, не нервничайте. Они такие же женщины как мы. Просто иногда более ухоженные и уверенные в себе.

– А что от нас конкретно требуется? – спросила Кама.

– Вести себя скромно, отвечать на вопросы и, главное, улыбаться. Кеер smiling! И не выпрашивать жвачку.

– Мама, за кого ты нас принимаешь? Ты забыла, что я ее на дух не переношу?

– Чего нельзя сказать о твоих юных кавалерах!

Кама покраснела, а Капа согласно закивала головой.

– Ладно, – хлопнула по столу Капина мама, – на этом заседание объявляю закрытым. Капа, сейчас тряпку в руки и чтоб ни одной пылинки в доме не осталось.

– Я помогу, – из солидарности вызвалась Кама.

День спустя. Москва

Молли, сама не зная почему, готовилась к встрече с женами русских ученых тщательнее чем обычно.

Вспомнилось, как года четыре назад в их университете принимали делегацию какого-то международного конгресса, и она впервые не только увидела, но и смогла пообщаться с тремя русскими женщинами, которые поразили ее прекрасным знанием английского, простотой в общении и элегантностью. Особенно удивило ее то, что об Америке они знали куда больше, чем она сама и ее коллеги о России. И теперь она внутренне настраивалась, чтобы не

ударить лицом в грязь. Визит в русский дом не входил в утвержденную программу, делегатки на нем настояли, и надо было подумать о подарках хозяевам. В последнюю минуту им сообщили, что в доме будут две девочки – подростки лет четырнадцати. И Молли на всякий случай прихватила с собой пластинку.

Автобус въехал в чистый, уютный двор большого дома. Дверь открыла пожилая благообразная консьержка в платочке, услужливо нажала кнопку лифта. Стало ясно, что их уже ждали. На пороге квартиры стояли две женщины, за ними две девочки.

– Анна, – представилась первая, – моя подруга Галина, моя дочь Капитолина, – добавила она, вытащив из за спины потупившуюся кудрявую блондинку, – а это Камилла, дочь Галины, – кивнула она в сторону стройной миловидной девочки с толстой русой косой.

Когда обмен приветствиями был закончен, Молли подошла к Галине.

– Мне кажется, мы с вами несколько лет назад встречались.

– Боже мой, Молли? Какими судьбами? Вот сюрприз!

– Да уж, такое и во сне не приснится. Как ваш супруг? Он тогда произвел на меня неизгладимое впечатление. И умом, и обаянием.

– Он умер два года назад.

– Не может быть! – Молли схватила Галину за руки. – Мои соболезнования.

– Что поделаешь, Бог располагает.

– У вас красивая дочь. На отца похожа.

– Я больше всего ценю то, что она пошла в него умом, а не красотой.

– Ну, красота девушке никогда не помешает, – заметила Молли.

– Не уверена, но посмотрим, – рассмеялась Галина, – а теперь прошу к столу.

Прием прошел на ура. Дамы щебетали, лакомились эклерами и трюфелями, пили душистый чай и любовались закатным солнцем, заливавшим просторные комнаты с видом на реку.

– Ваши девочки поют? – вдруг спросила Молли. – Мы в Ленинграде слышали песню «Пусть всегда будет солнце». Она нам очень понравилась. И мы даже хотели ее записать, но не успели.

– Кама поет, – сказала Анна, – и на рояле играет. А Капе медведь на ухо наступил. Пытались ее музыке учить, ничего не вышло.

– Камилла, ты знаешь эту песню? – деловито осведомилась негритянка из Нового Орлеана и тут же вытащила из сумки портативный магнитофон.

– Конечно, знаю, – с достоинством ответила Кама. – Какой вариант вам предпочтительнее – русский или английский?

– Если можно, оба, – не растерялась негритянка.

– Только я буду петь *a capella*, – предупредила Кама. – Рояль здесь не настроен.

И она запела. Дамы слушали с восхищением и наградили Каму бурными аплодисментами. Негритянка перемотала кассету и проверила запись.

– Замечательно, – расплылась она в улыбке. – Будет что предьявить студентам. Пускай знают, какие русские девушки талантливые.

Прощаясь, дамы вручили хозяйкам пакеты с подарками. Молли подошла к Каме.

– Это тебе, – сказала она и протянула ей пластинку.

– Мне? Спасибо! Но почему?

– Меня просили подарить эту пластинку девушке, которая умеет петь.

– Кто просил?

– Молли, нам пора в Большой театр, – заторопила ее негритянка. – Спасибо, Камилла, за песню, будь счастлива!

– Она звонко чмокнула Каму в щеку и потащила Молли к

лифту. Оглянувшись, Молли увидела широко распахнутые глаза Камы, на вопрос которой так и не успела ответить.

– Дай посмотреть, – вцепилась в пластинку Капа, когда дверь за гостями закрылась, – так, теперь проблем с твистом не будет. Ой, да тут что-то написано... Кама, точно в твоём духе: *Девушке моей мечты!* Такой же романтик!

– Особенно если учесть, что я даже не знаю как его зовут, не говоря уже обо всем остальном.

– Молли чего-то из лифта кричала. Ты не слышала?

– Нет. А ты? Ты же ближе была.

– Я только разобрала «lion». И еще подумала, причем тут лев?

– Наверно, он на льва похож, – сострила Кама.

– Камка, а приятно сознавать, что о тебе за океаном кто-то мечтает?

– Мечты, мечты, где ваша сладость... – хихикнула Кама. – Давай лучше музыку послушаем.

– Так у меня же проигрывателя нет, – вздохнула Капа, – только магнитофон, да к нему Егорка запретил даже приближаться.

– Как ты позволяешь старшему брату так с собой обращаться?

– Я для него по жизни пигалица. Он меня и по имени-то не называет.

– Тогда пошли ко мне, – скомандовала Кама, – у нас, как ты знаешь, магнитофона нет, зато проигрыватель новый и на две скорости крутит. Эта пластинка на 78, так что живём!

Осень 1964. Нью-Йорк

На первой лекции в начале следующего семестра Молли не увидела в аудитории Лайонела и по окончании подозвала его лучшего друга Марка.

- Вы не знаете, что случилось с Лайонелом? – спросила она. – Не захворал, надеюсь?
- Да нет, – ответил Марк. – Просто ушел из университета.
- Не закончив программу?
- Ну, бакалавр у него уже есть. Ему предложили шикарную работу в Вирджинии.
- Вот как! Жаль, он не узнает, что я выполнила его просьбу.
- С пластинкой? Он мне рассказал, я от души посмеялся. Ведь он девушек как перчатки меняет.
- А в эту бы наверняка влюбился. Лет через пять-десять.
- Почему так нескоро?
- Сейчас ей четырнадцать.
- Возраст Джульетты, самое время влюбляться.
- Так это ей, – с улыбкой поправила его Молли. Марк смущенно хмыкнул, подхватил свой рюкзак и ушел, помахав на прощанье рукой.

Зима 1974. Москва

В ресторане гостиницы «Россия» было многолюдно. Официантка проводила Лайонела к маленькому столику у стены, за которым он завтракал и ужинал.

«Хорошо, что не приходится стоять в очереди на морозе как эти бедные русские», подумал он, растирая ледяные пальцы. За десять дней пребывания в этой стране он не переставал удивляться очередям, в которых топтались жаждающие попасть вечером в ресторан люди. «Или ресторанов мало, или хороших мало», думал он.

– Может, водочки? – участливо спросила официантка, – похоже, вы здорово замерзли.

– Лучше коньяку, – сказал Лайонел, памятуя о том, что виски здесь не было.

Официантка упорхнула, а Лайонел тем временем устроился поудобнее и осмотрелся. За соседним столиком ужинала компания из пятерых пожилых людей и одной девушки. Девушку он заметил сразу, поскольку она

сидела к нему лицом и так вкусно ела, что он немедленно почувствовал голод.

– Вот ваш коньячок, вот икорка, язычок с хреном, кушайте на здоровье, – захопотала у столика официантка, – а на горячее рекомендую киевскую котлету.

– Ну что ж, если рекомендуете, то несите, – распорядился Лайонел и пригубил коньяк. По телу начало растекаться тепло. Он намазал хлеб икрой, с наслаждением откусил и опять уставился на девушку. На вид ей было лет двадцать с небольшим. Нежный овал лица с распахнутыми (именно распахнутыми – лучшего слова он подобрать не мог) глазами обрамляли гладкие русые волосы, стекавшие на спину ровной волной. В вырезе белой блузки мерцала тонкая золотая цепочка с изящной ромбовидной подвеской. Средний палец правой руки обнимало кольцо с темным камнем. Поясной портрет завершала малиновая жилетка, остальное скрывалось под столом и было его взгляду недоступно.

Сидящие за столом негромко переговаривались. Лайонел уловил характерный британский акцент.

Подали киевскую котлету. Пока официантка объясняла как ее разрезать, чтобы не ошпариться, компания за соседним столиком поредела, а когда содержимое тарелки полностью переключалось в его желудок, девушка и вовсе осталась одна. Несколько минут она сидела, сосредоточенно перелистывая зеленую записную книжку, потом достала из сумочки пудреницу и помаду и подкрасила губы.

И тут Лайонел решился.

– Можно я ненадолго составлю вам компанию? – спросил он, взявшись за спинку ближайшего к девушке стула.

– Если ненадолго, то можно, – улыбнулась она и жестом позволила ему сесть.

– Вы англичанка? – осведомился он, – и, наверное, учились по крайней мере в Оксфорде.

- Увы, – рассмеялась она. – Но, тем не менее, в одной из лучших московских школ, потом в университете. Да и в детстве подфартило.
- Что вы имеете в виду? – не понял Лайонел.
- Пару лет провела с родителями в Шотландии.
- Когда, если не секрет?
- Не секрет, в середине пятидесятых. Мне тогда шесть лет было.
- А почему в Шотландии?
- Там у коллеги моего отца опытная станция была. И они вместе работали.
- А что вы делали здесь?
- Ужинала с группой лондонских музыковедов. Подрабатываю гидом-переводчиком. А вы кто? Судя по акценту, американец.
- Угадали. Как вас зовут?
- Камилла. Друзья ограничиваются Камой.
- Довольно непривычное имя. За десять дней в России я утвердился в мысли, что здесь обитают Наташи, Маши и Ирины. Светланы, Ольги и Елены встречаются чуть реже.
- Своим именем я обязана бабушке. Ее бабушка по матери, то есть моя пра-пра, была польской княжной. Бабушка хотела донести до всех, что я девочка из знатной семьи. Голубая кровь, так сказать. Но теперь это не имеет никакого значения. А как ваше имя?
- Лайонел.
- Стало быть, львенок. Симпатично. Тоже в честь предка?
- Прадедушки. Только он был Леонард. То есть лев.
- Ну, все правильно. Львенок, правнук льва.
- Хотите коньяку? – вдруг спросил Лайонел, заметив, что бокал Камы девственно чист.
- Не откажусь, – улыбнулась она. – На работе я не пью, а после сам Бог велел.
- Отпив из рюмки, она порозовела и стала еще красивее.
- Вы не опасаетесь, что нашим общением я невольно причину вам неприятности? – спросил Лайонел. – Когда я

пытался заговаривать с русскими, они шептали слова благодарности и быстро испарялись. Исключение составляли те, кто сам напрашивался на знакомство.

– А что, и такие были? – поинтересовалась Кама.

– Были. В Ленинграде. Сначала в валютном баре меня пыталась соблазнить какая-то журналистка, а потом один весьма странный профессор предлагал мне мальчиков.

– Решил, что раз вы не польстились на бабу... И как же вы от них отбились?

– Послал подальше. Сказал, что приехал в отпуск и хочу провести его спокойно.

При этом пояснил, что в моей стране им бы каникулы не портили.

– Мудро. За меня можете не волноваться. Я все равно невыеззная, так что навредить мне уже невозможно.

– А что значит «невыезжная»?

– Это значит, что пока существует советская власть, за границу мне путь заказан.

– Почему?

– Трудно объяснить. Но попробую. Вы что-нибудь слышали о диссидентах?

– Слышал. О тех, кто вышел на площадь в 68-м.

– А о крымских татарах знаете?

– Смутно. Кажется, их выслали в 44-м.

– И до сих пор не восстановили в правах. Так получилось, что моим бывшим мужем был дальний родственник генерала Григоренко, который встал на их защиту.

– И что?

– Что? Отсидел на Лубянке два месяца под следствием. Потом его за недоказанностью обвинения освободили. А клеймо осталось. И на нем, и на мне.

Она залпом допила коньяк и, повертев головой, сказала:

– О, *Eine kleine Nachtmusik* включили. Стало быть, ресторан закрывается.

– А что, у вас принято выкуривать посетителей Моцартом?

– удивился Лайонел.

- Да нет, – подавила смех Кама, – просто директор здешнего заведения большой меломан. И на дорожку угощает классикой. Лично я не возражаю. Моцарт мой любимый композитор. Сороковую симфонию вообще могу каждый день слушать и не надоест. Господи, может быть, когда-нибудь в Зальцбурге..., – мечтательно произнесла она и осеклась. – Пора по домам.
- Вас ктонибудь ждет? – неожиданно для самого себя спросил Лайонел.
- Нет, – покачала головой Кама. – Мама гостит в Киеве, а завтра у меня выходной.
- Завтра я улетаю, – с сожалением произнес Лайонел. – Но у меня идея! Давайте проведем остаток вечера вместе, раз вы никуда не торопитесь.
- Не возражаю, – с улыбкой согласилась Кама.

Ночная Москва была прекрасна. Крупные хлопья снега мягко спадали с неба и устлали белым ковром брусчатку на Красной площади.

- Почему ее назвали Красной? – спросил Лайонел. – Сейчас, по крайней мере, ей больше подошло бы название Белая.
- Красная значит красивая. К цвету крови это отношения не имеет, – пояснила Кама.
- Вот как! Я не знал.
- В прежние времена здесь была центральная торговая площадь. Жаль, что ее превратили в кладбище. Вас в Мавзолей в принудительном порядке не водили?
- Всю группу, разумеется, водили. Но поскольку я к ней формально не принадлежу, то мне удалось увильнуть. Честно признаюсь, трупы меня не впечатляют.
- Полностью солидарна. Особенно когда на сохранение одного целый институт работает.
- А эти бедняги в карауле! Мне их искренне жаль.
- Не жалейте. У них экипировка соответствующая. Термобелье и прочая. А вот вы, кажется, начинаете

замерзать. Наши холода только канадцы да скандинавы спокойно выдерживают, и то не все.

– В Вирджинии сейчас плюс десять, – виновато промямлил Лайонел. – И именно потому что я уже не чувствую своих ног, нет ли в Москве приличного ночного бара? Дабы погреться.

– Есть, и недалеко. Но платить там можно только твердой валютой. Рубли не котируются.

– Тогда я вас приглашаю.

В баре было тепло и, по счастью, не слишком накурено. Небольшой ансамбль из двух аккордеонистов и трех балалаечников в косоворотках истово наяривал «Калинку». Они уселись за крошечный столик в углу, и Лайонел заказал виски.

– Если не секрет, чем вы занимаетесь и *what is your affair in USSR?* – спросила Кама. – *We'll teach you to drink deep ere you depart.**

– *Never to speak of this that you have heard, swear by my sword,*** – заговорщицки прошептал Лайонел и сделал страшные глаза.

– *In faith, my Lord, not I,**** – в тон ему продекламировала Кама, – тем паче, что меча здесь просто нет. – И они оба расхохотались.

– Я работаю в NASA. Сочиняю критерии для компоновки экипажей астронавтов. К этой группе примкнул случайно, по протекции коллеги. Мог отказаться, но решил не упускать уникальную возможность. В Ленинграде гулял со всеми вместе, а в Москве, поскольку у остальных сугубо научная программа, ко мне приставили личного гида.

* Парафраз слов Гамлета: *Зачем приехали вы в Эльсинор? Тут вас научат пьянству.*

** *Клянитесь никогда не говорить о слышанном. Ладонь на меч! (слова Гамлета)*

*** *Честью клянусь, не скажу. (слова Горацио)*

– Тогда понятно, почему они вас пасут, – задумчиво протянула Кама.

– Кто «они»? Погодите... – он наклонился и пальцем нарисовал на столе три заглавные буквы.

– Именно.

– Меня предупреждали. Значит, там в Ленинграде...

Кама приложила палец к губам. К их столику направлялся высокий шатен в белой вышитой рубашке и безупречного покроя брюках, заправленных в мягкие черные сапожки.

– Это Наркис, аспирант нашей консерватории, скрипач, – скороговоркой предупредила Кама, – он в этом ансамбле иногда играет.

– Кама, добрый вечер. Вот уж не ожидал тебя здесь увидеть. Но на ловца, как говорится, и зверь бежит!

– Привет, Наркис. Но прежде чем выяснять – кто ловец, а кто зверь – позволь представить тебе нашего заморского гостя.

Лайонел привстал, и они обменялись с Наркисом рукопожатием.

– Кама, ты можешь нас выручить? – Наркис трагически изогнул бровь и умоляюще приложил ладони к груди.

– Каким образом?

– Спеть несколько романсов. Наша солистка заболела, и мы уже не чаяли как выкрутиться. Тебя само небо послало.

– Наркис, во-первых, я на службе, – соврала Кама, – а во-вторых, я музыковед, а не певица.

– А вы поете? – оживился Лайонел.

– Поет, еще как поет, – заверил Наркис, – упрсите ее, если, конечно, не возражаете.

– Кама, не отказывайтесь, пожалуйста, – и Лайонел скопировал понравившийся ему умоляющий жест.

– Ладно, уговорили, – согласилась Кама.

Ее голос звучал в его ушах всю дорогу от Шереметьева до Шеннона, где самолет совершил промежуточную посадку. Слоняясь по магазину беспопытной торговли, Лайонел

набрел на распродажу кашемировых джемперов «Pringles» и, чтобы переключиться, выложил все непотраченные в Москве доллары на восемь штук разного цвета.

День спустя. Москва

– Ты уверена, что это был он? – спросила Капа.

– Конечно. И грива львиная, и зовут Лайонел. Но он не узнал меня.

Подружки сидели в комнате у Камы и слушали Битлз.

*Yesterday, all my troubles seem so far away** ..., заливался Пол Маккартни.

– А ты спросила его о пластинке?

– Нет.

– Почему?

– Потому что он должен был догадаться. Я ведь ради него петь согласилась. А раз не спросил, значит или забыл, или с самого начала почитал это шуткой.

– И что теперь?

– Ничего.

Порядочные девушки не ценят

Когда им дарят, а потом изменяют. **

– Камка, ты даешь. Какая ты к черту девушка, если уже замужем побывала?

– Чья бы корова мычала! Кто-то *in sweet sixteen**** со знанием дела прочил себе бурную молодость. И где она? И где Антошкин отец?

– Не сыпь мне соль на рану.

– Не буду. Но согласишься, что с классиком спорить трудно.

– А Офелия тем не менее утопилась.

– Не волнуйся, я ее примеру не последую.

* *Вчера, все мои беды кажутся такими далекими...* (англ.)

** *... for to the noble mind rich gifts wax poor when givers prove unkind.* (слова Офелии)

*** *В нежные шестнадцать* (англ.)

– *And I believe in yesterday**, – пропела она вместе с Маккартни, откинувшись в кресле и улыбнувшись своей неповторимой улыбкой, которая вот уже добрый десяток лет сводила с ума всех натывавшихся на нее особой мужского пола.

Два дня спустя. Нью-Йорк

– Ну и как тебе Россия? – Марк ловко вскарабкался на стул у барной стойки и заказал два виски.

– Холодная, – рассмеялся Лайонел. – Пришлось даже меховую шапку купить.

– А если серьезно?

– Я ее так и не понял. Наверное, для этого там надо пожить подольше.

– Что ты имеешь в виду?

– Ну смотри: жена одного из членов нашей группы, известного физика, вышла во время обеда на улицу покурить. И ее на пороге ресторана, приняв за проститутку, арестовали и увезли в милицию. Муж сходил с ума, наша гид сбилась с ног, полдня ухлопали на поиски и выяснение обстоятельств.

– Что они, по паспорту не могли определить кто она?

– Паспорта отбирают в гостинице, а квиточек и ключ от номера, естественно, были в кармане у ее мужа.

– Кошмар! И чем закончилось?

– Будешь смеяться, но помогли русские проститутки, с которыми она оказалась в одной камере.

– Не может быть!

– Может. С ней ведь никто из милиционеров и не разговаривал. Видимо, решили, что она иностранкой прикидывается. А проститутки оказались грамотные. И очень быстро выяснили, кто она, в какой гостинице живет и так далее. Затребовали начальника и все ему расписали. В красках. Начальник, видать, наложил в штаны, и нашу

** *И я верю во вчера* (англ.)

бедолагу вернули в целостности и сохранности. Физик заявил протест, но ни перед ним, ни перед его женой никто так и не извинился.

– А девушку своей мечты ты не встретил? – помолчав, вдруг спросил Марк.

– Какую?

– Уж не знаю. Ту, которой ты десять лет назад пластинку послал. Я, грешным делом, думал, что ты именно за этим в Россию намылился.

– Смеешься? Я ведь даже не знаю, кому Молли ее передала и передала ли вообще.

– А не худо было бы тебе осведомиться. Я и то знаю, что твою просьбу она выполнила и подарила пластинку четырнадцатилетней девочке, которая замечательно пела.

– Значит, сейчас той девочке года двадцать четыре.

Постой, я ведь целый вечер провел с девушкой примерно этого возраста. И она пела. Да так, что я до сих пор помню ее голос.

– Красивая?

– Очень. Особенно глаза. Распахнутые...

– И по-английски небось говорит?

– Не только говорит, но Шекспира наизусть читает.

– И ты не спросил ее о пластинке?

– Нет.

– Почему?

– Честно признаться, забыл. И потом, что бы это изменило?

– А если она на самом деле была девушкой твоей мечты? Лайонел отпил из стакана и постарался заглушить уже третий день мучивший его вопрос: «Она или не она?» И, успокаивая себя, отвечал: «Нет, такое бывает только в кино.»

Весна 1987. Москва

Кама сидела в своем кабинете и разбирала свежую почту. Пришли журналы со статьями, освещавшими музыкальную жизнь в разных странах, и ей надлежало по возможности определить их ценность для перевода и публикации в собственном журнале. Цепкий профессиональный взгляд упал на обзор современной популярной музыки в Швеции, и она погрузилась в чтение. Телефонный звонок прервал ее на самом интересном месте, и она нехотя подняла трубку.

– Слушаю.

– Камилла Яновна, у вас есть свободная минутка?

Звонил шеф, и Кама без энтузиазма ответила:

– Допустим.

– Тогда зайдите ко мне. Обещаю, что дольше вы у меня не задержитесь.

– Знаю я ваши минутки, – беззлобно усмехнулась Кама. – Придется шведов отложить.

– Шведов? Вот мы о них как раз и поговорим.

– Иду, – вздохнула Кама.

С шефом у Камы отношения были весьма миролюбивые.

Он ценил ее знание иностранных языков, из которых с грехом пополам изъяснялся только на итальянском благодаря студенчеству в консерватории. Певца из него не вышло, и он в конце концов, защитив диссертацию, утвердился в кресле главреда толстого музыкального журнала. Человек он был невредный и не лишенный чувства юмора, но вспыльчивый, и Кама, придя в редакцию и уяснив это, очень быстро выработала с ним иронично-равнодушный стиль общения, который был им принят и с той поры сохранялся неизменным.

– Чувствую, что оторвал вас от перспективного материала, за что заранее прошу меня простить, – шеф встал из-за стола и предложил Каме кресло.

– Не беспокойтесь, успеется. Так чем могу служить?

- Позвольте, я сразу быка за рога. Не хотите в Швецию прогуляться?
- Кама поперхнулась. Она хотела спросить – зачем, почему, как – но все слова застряли в ее горле и вырвались наружу в виде обыкновенного кашля.
- Шеф тактично вызвал секретаршу и заказал чай.
- Вы ведь знаете шведский? – спросил шеф.
- Выучила на свою голову, – отпив из чашки, отозвалась Кама, – только в стране побывать не удалось. И вам хорошо известно почему.
- Времена изменились, и теперь ворота для вас открыты. Есть место на летние курсы языка. Месяц в Хельсингборге. Поедете?
- Когда?
- В июле.
- Надо быть дураком чтобы отказаться. Надеюсь, вы меня за такого не держите.
- Именно потому и предложил, – расплылся в улыбке шеф.
- Вот пакет документов, которые вы должны заполнить. И как можно скорее. Надеюсь, что ваши домашние возражать не будут.
- Пусть только попробуют, – с вызовом парировала Кама.
- Впрочем, в поддержке по крайней мере одного члена семьи я уверена на все сто.
- Мужа?
- Нет, сына. Он всегда на моей стороне.
- А сколько сыну?
- Десять.
- Жених для моей дочки. Ей скоро семь.
- Даст Бог, доживем, – рассмеялась Кама, а про себя подумала: «не приведи Господи!»

Июль 1987. Хельсингборг

Кама сидела в открытом кафе на набережной и с наслаждением поглощала шоколадное мороженое. Через пролив открывался изумительный вид на гамлетовский

замок, который сегодня, благодаря ясной погоде, был виден во всей красе. Мечта посетить его так и не сбылась. Сначала она опасалась сесть на паром и переправиться в Данию из-за отсутствия визы, а когда новоприобретенные друзья из летней школы убедили ее в том, что паспорта не проверяют, рисковать уже не было смысла: в Дании началась забастовка музейных работников и Кронборг закрылся на неопределенный срок. А ее время уже подошло к концу. На завтра поезд должен был доставить ее в Гетеборг, откуда был прямой рейс на Москву. И она, уже изрядно соскучившись по сыну и мужу, добирала последние часы свободы и одиночества.

Подплыл белый паром и бесшумно пришвартовался. По сходням повалила беззаботная субботняя толпа. Кама скользила по ней взглядом и невольно задержалась на высоком спортивном мужчине в шортах с рюкзаком за плечами и велосипедом, который он катил рядом. «Не может быть», – пронеслось в голове.

Мужчина направился в ее сторону, прислонил велосипед к парапету, сбросил рюкзак и исчез в павильоне кафе. Через три минуты он вышел с вазочкой мороженого и бутылкой кока-колы и уселся за соседним столиком.

– Лайонел, – неожиданно для самой себя и довольно громко произнесла Кама.

Он поднял голову.

– Вы меня знаете? – недоуменно спросил он.

– Разумеется, – со смехом ответила Кама. – Правда, мы виделись один-единственный раз не далее как тринадцать лет назад в холодной февральской России. И если вы меня не узнаете, я нисколько не удивлюсь.

Лайонел смотрел на нее в упор. Перед ним сидела стройная, со вкусом одетая женщина бальзаковского возраста с короткой стрижкой и насмешливой улыбкой. Открытую шею обвивала тонкая золотая цепочка с изящной ромбовидной подвеской, средний палец правой руки украшало кольцо с крупным темным камнем. На

соседнем безымянном плотно сидело другое – обручальное. И эти распахнутые глаза...

– Камилла? Кама?

– Она самая. Не хотите перекочевать за мой столик?

Он подхватил мороженое и колу и уселся в плетеное кресло напротив.

– Не верю своим глазам. Как вы здесь очутились?

– Приехала совершенствовать свой шведский. Оказалось, что не без пользы. А вас как сюда занесло? Сомневаюсь, что через Атлантику проложили велосипедную дорожку.

– Велосипед взят напрокат в Копенгагене, – рассмеялся Лайонел. – Я в последние годы почему-то полюбил Скандинавию. Предпочитаю крутить педали именно здесь. Дома для этого вида досуга слишком мало возможностей. Того и гляди задавят. И все-таки, как вам удалось выбраться из России? Помню, вы мне говорили, что пока существует советская власть, за границу вам путь заказан. Я правильно выразился?

– Правильно. Но советская власть уже пошатнулась, и железный занавес поехал вверх. Забавно, что при получении заграничного паспорта я встретила своего первого мужа. Его тоже выпустили – в Финляндию.

– Прошлый раз вы его назвали бывшим. Значит, теперь есть второй? – и Лайонел указал на ее обручальное кольцо.

– Есть, – просто ответила Кама, – и не только муж, но и сын. А у вас? Женаты?

– Вроде того, – пожал плечами Лайонел. – Живем вместе уже четыре года.

– А почему не женитесь? – удивилась Кама.

– Не знаю. Сначала она говорила: подождем, а теперь роли переменялись. Вот и ждем.

– *To wait or not to wait
That is the question,* * –

* *Ждать или не ждать, вот в чем вопрос. (англ.)*

сошурившись, перефразировала Шекспира Кама и махнула рукой в сторону замка на другом берегу пролива.

– *And enterprises of great pith and moment*

With this regard their currents turn awry,

*And lose the name of action. – Soft you now!**

Камилла, не свободны ли вы завтра? – неожиданно завершил монолог Лайонел. – Мы можем покататься на тандеме. Я знаю где его достать.

– Завтра я уезжаю, – улыбнулась Кама. – Поезд рано утром.

– Жаль. Но тогда может быть, поужинаем вместе? Я вас приглашаю.

– Приглашение принимается с благодарностью, – весело согласилась Кама, – тем более что в школе нас с довольствия уже сняли.

– Почему?

– Официально курс завершился вчера, и уже почти все разъехались. А самолет в Москву летает два раза в неделю.

– Тогда я просто обязан протянуть вам братскую руку помощи.

С этими словами он протянул ей руку. Кама крепко пожала ее, и они оба расхохотались.

Лайонел хотел сделать ей сюрприз и проводить ее на поезд, но проспал самым непростительным образом, и когда подкатил на своем велосипеде к дверям школы, ее уже не было. Он надел наушники, включил радио и взял курс на Стокгольм.

*Why she had to go, I don't know, she wouldn't say...***

врезался голос Пола Маккартни.

* *Так погибают замыслы с размахом,
Вначале обещавшие успех,
От долгих отлагательств. Но довольно! (слова Гамлета)*

** *Почему она ушла, я не знаю, она не сказала... (англ.)*

«И правда, почему?» – задал себе вопрос Лайонел. – «Мы встретились уже дважды, может быть, судьба? Первый раз это казалось совершенно невероятным, а сейчас? Но ведь она замужем, да и я несвободен. Саманта ждет...»

Он постарался вспомнить гибкое тело Саманты, ее чувственный рот и запах миндального крема, которым она натиралась после вечернего душа, и поймал себя на мысли, что с гораздо бóльшим удовольствием лег бы в постель с Камиллой.

And I believe in yesterday... * «А ведь на самом деле верю. Наваждение, да и только.»

И он с силой нажал на педали в надежде вырваться из его объятий.

Август 1987. Подмосковье

Кама и Капа сидели на веранде каминой дачи. Сеял теплый грибной дождик, со двора через открытую дверь тянуло терпким запахом хвои и спелых яблок.

– Ты шарлотку испечешь? – заискивающе спросила Капа.

– А ты сомневалась? – насмешливо вопросом на вопрос ответила Кама.

– Вообще-то нет, – осмелела Капа. – А где мальчишки?

– Наверху. Сдается мне, что твой Антон посвящает моего Кешку в науку завоевания девичьего сердца.

– А что, Кешка уже влюбился?

– Еще как! Без соседской Асеньки жизни просто нет.

– А она что? – Капа округлила глаза.

– Ноль внимания, фунт презрения.

– Почему? Кешка такая лапочка.

– Так она на три года его старше.

– В наше время это препятствием не считалось.

– Капа, Асенька положила глаз на Антона.

– Увы, для него она просто пигалица.

* *И я верю во вчера*

... (англ.)

- Как же в тебе прочно сидит комплекс младшей сестры, – Кама потянулась, встала и начала замешивать тесто.
- Камка, слушай, но ведь это же невероятно, что вы опять встретились! – перевела разговор на интересующую ее тему Капа.
- Невероятно, но факт!
- И ты ему опять не сказала про пластинку?
- Нет.
- Ну почему?
- Потому что это ничего бы не изменило.
- А если это судьба?
- Судьбой это могло стать тринадцать лет назад. А сейчас... Разве я могу лишиться Кешку отца?
- Он же тебе изменяет направо и налево. Об этом знают все.
- Кроме меня. Пока с поличным не поймаю, пусть будет как будет.
- Камка, ты псих.
- *Я помешан только в норд-норд-вест. При южном ветре я еще отличу сокола от цапли.**
- Кончай в Гамлета играть, – прыснула Капа, – лучше поставь пластинку. Чего-то стариной тряхнуть захотелось.
- Сейчас. – Кама сунула пирог в духовку, принесла проигрыватель.
- Let's twist again, like we did last summer,
Let's twist again, like we did last year...***
- Молодые женщины завелись в танце.
- Какая прелесть, – радостно надсаживалась Капа, тряся кудряшками.

* *I am but mad north-north-west: when the wind is southerly I know a hawk from a handsaw. (слова Гамлета)*

** *Давай станцуем твист как прошлым летом, Давай стануем твист как в том году... (англ.)*

- Где мои семнадцать лет, – вторила ей Кама, яростно полируя пол босыми подошвами.
- На шум со второго этажа скатились сыновья.
- Вот это да, – выдохнул Антон.
- Какие они красивые, – добавил Кеша.
- А ну, дети, присоединяйтесь, – задорно крикнула Кама и потянула сына за руку.

На этой степени безумства и застал их Камин муж, неожиданно вернувшийся из командировки на день раньше срока.

Осень 1998. Зальцбург

- Мама, тебе не холодно? – заботливо спросил Кеша, подливая золотистое вино в бокал Камы.
- Нет, – улыбнулась Кама, – я одета вполне по погоде.
- Они сидели в маленьком кафе на берегу светло-зеленой реки, которая пузырилась и скворчала вниз, и ели сладкие блинчики со свежей ежевикой.
- Хорошо, что ты приехала, я порядком соскучился.
- Как тебе тут, – поинтересовалась Кама, – нравится?
- Очень, – воодушевился Кеша, – в этом царстве музыки я чувствую себя как рыба в воде.
- Ну и прекрасно, что новенького написал?
- Цикл романтических баллад для флейты и фортепьяно. Тебе должно понравиться.
- Чует мое сердце, что неспроста.
- Мама, ты всегда смотришь в корень.
- И кто же виновница твоего вдохновения?
- Я тебя с ней познакомлю. Завтра. Ее зовут Ваня.
- Чудное имя. Откуда она?
- Из Черногории. Боже, какой у нее голос! Твой напоминает. Только гораздо сильнее.
- Рада за тебя.
- Она немножко стесняется. Но я уверен, что вы подружитесь.

– Не сомневаюсь.

Кама отпила из бокала и задумчиво уставилась на горную грядку, тонувшую в сизом тумане.

– Ты отца давно видел?

– Год назад. Он ведь никогда особо не баловал меня вниманием. А с тех пор как вы расстались, и подавно.

– Как у него дела?

– Мечется в поисках идеальной жены. Кажется, уже трех сменил если не больше. Но такую как ты он все равно не найдет. Даже если истопчет семь пар железных башмаков и семь раз обойдет вокруг света.

Кама рассмеялась. – Как ты жесток, однако.

– А к тебе он не был жесток, когда затащил в твою постель страховщицу? И эта сука еще имела наглость после всего явиться как ни в чем не бывало страховать нашу дачу!

– Ну она же была пострадавшая!

Тут уже и Кеша не выдержал и зажал рот рукой, чтобы не расхохотаться.

– Ты на репетицию не опоздаешь? – спросила Кама, посмотрев на часы, – уже половина пятого.

– Не имею права, – серьезно ответил Кеша. – Не скучай.

Позавтракаем в восемь утра в Café Vazar. Лады? Я приду с Ваней.

– Лады, – согласилась Кама. – Ни пуха!

– К черту, – весело послал ее сын и убежал, легко подпрыгивая на средневековых булыжниках.

Кама осталась сидеть за столиком, безмятежно потягивая вино. В бутылке оставалась еще добрая треть, спешить было некуда. Медленно спускался вечер. Закат растекался розовым морем, над которым плыли паруса перистых облаков. С поблекших деревьев тихо спадали усохшие листья.

– *Над розовым морем вставала луна,
Во льду зеленела бутылка вина...* – негромко пропела Кама и закрыла глаза, вызывая в памяти одиннадцатилетней давности ужин в Хельсингборге.

– *Послушай, о как это было давно,
такое же море и то же вино...* – раздался голос над ее головой.

– *Мне кажется будто и музыка та же,
послушай, послушай, мне кажется даже...* – машинально продолжила Кама и, вдруг очнувшись, распахнула глаза. Перед ней стоял Лайонел.

– *Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой,
Мы жили тогда на планете другой...*

– Только не говорите мне, что мы слишком стары и слишком устали, – рассмеялся Лайонел и поцеловал ее руку.

– Этого не может быть, – помотала головой Кама, – в призраки я не верю.

– А в чудеса? – заговорщицки прошептал Лайонел. – Но шутки в сторону, я на самом деле еще не до конца уверовал в то, что снова вижу вас.

– Но на сей раз вы меня узнали, – лукаво улыбнулась Кама.

– По вашему голосу и по романсу*, который вы так кстати запели. А теперь рассказывайте, что привело вас в колыбель Моцарта.

– Ну, помимо того, что я давно мечтала посетить пенаты своего музыкального кумира...

– Это я помню...

– ... приехала навестить сына. Он здесь учится композиции. И играет на флейте.

– И, наверное, кружит головы юным австриячкам, если он так же красив как его мать.

– Не знаю насчет австриячек, но одна черногорка уже пала его жертвой. Завтра он должен мне ее представить.

* Романс Александра Вертинского на стихи Г. Иванова

- Значит, завтра вы не уезжаете. Уже хорошо.
- А вы?
- Я только приехал. С твердым намерением провести в этом городе как минимум неделю.
- Тогда наши временные планы совпадают.
- Вот и замечательно! Надеюсь, что хотя бы частично они пересекутся.
- Что вы имеете в виду?
- Не собираетесь же вы проводить все время с сыном, тем более что у него *есть магнит попритягательней***?
- Да это и в принципе невозможно, – рассмеялась Кама. – Ведь он каждый день на занятиях, а вечерами еще и с оркестром репетирует.
- А сегодня вы свободны? Давайте поужинаем вместе. Я вас приглашаю.
- С удовольствием.
- Теперь моя очередь задавать вопросы, – напустив на себя строгий вид, сказала Кама, когда они угнездились в уютных креслах небольшого ресторана, славившегося венскими шницелями.
- Я весь внимание и слух.
- Какими судьбами вы в Зальцбурге? И где ваш велосипед?
- Для велосипеда уже, пожалуй, холодновато, а приехал, откровенно говоря, по наитию. Хотел неделю провести в Вене, но, приземлившись в тамошнем аэропорту, вместо того чтобы ехать в гостиницу, поехал на вокзал. Как будто услышал голос свыше. И теперь благодарю Бога, что послушался.

** ... *here's metal more attractive.* (слова Гамлета)

Он взял ее руки и приложил к своим щекам. Щеки были гладкие и теплые, и тепло согрело ее холодные руки и разбежалось по всему телу. Она невольно вздрогнула.

– В самолете по телевизору крутили диснеевский «The Lion King»,^{*} а в поезде по радио передавали вашу любимую сороковую симфонию Моцарта. И я уже знал, что встречу вас. Мне даже не пришлось долго искать. Ноги сами привели меня туда, где вы сидели.

– И очень вовремя. Мой сын слинял минут за десять до вашего появления.

– Кама, не смейтесь. Теперь я знаю, что тогда в Москве был круглым дураком.

– Почему? – перебила его Кама.

– Потому что не узнал вас.

– В каком смысле?

– Судьбу свою не узнал и прошел мимо. Потом, когда мы встретились второй раз, я подумал, что это неспроста. Но мы оба были несвободны. А сейчас...

– Похоже, что вы освободились, – съязвила Кама.

– И вы тоже, – не растерялся Лайонел, отняв ее правую руку от своей щеки и погладив ее некольцованный безымянный палец. – И теперь я вас уже не отпущу.

– Посмотрим, как вы будете себя вести, – прищурилась Кама. – Мои вопросы к вам еще не исчерпаны.

– А наш ужин только начинается, – парировал Лайонел и разлил принесенное официантом вино в бокалы. – Давайте выпьем за нашу встречу!

– Вы забыли сказать «третью», – поправила его Кама, и они чокнулись.

– Господи, может быть, когда-нибудь в Зальцбурге..., – нараспев произнес Лайонел и хитро посмотрел на Каму.

– Вы и это помните?

* «The Lion King» – мультипликационный фильм, сюжет которого основан на «Гамлете» Шекспира, но со счастливым концом.

- Но тогда вы не закончили фразу.
 - Потому что конец был мечтой.
 - А теперь?
 - Мечты руками лучше не трогать, даже если они сбываются.
- Он уловил в ее голосе легкую иронию и счел за благо эту тему закрыть. Тут как раз подоспели шницели, и они оба мирно занялись едой.
- Как зовут вашего сына? – спустя некоторое время спросил Лайонел.
 - Иннокентий. Кеша.
 - Почему ваш выбор пал именно на это имя? Родовое? Помните, мы с вами говорили об именах в Москве.
 - Конечно, помню. Нет, в нашем роду Иннокентиев не было. Но все младенцы рождаются невинными, вдобавок, это имя носил лучший исполнитель роли моего любимого литературного персонажа.
 - Гамлета?
 - Как вы догадливы!
 - Трудно было бы не догадаться, если вы то и дело цитируете именно эту пьесу.
 - Да и вы не промах!
 - Что же тогда помешало вам назвать его Гамлетом?
 - Ну, во-первых, он родился в России, а не в Дании, и даже не в Англии как его создатель. А во-вторых, меня неотвязно преследовал образ нашего преподавателя научного коммунизма, которого звали Гамлет Тимурович, да еще и по фамилии Балдаев.
- Лайонел согнулся от смеха.
- Можно полюбопытствовать, что такое научный коммунизм?
 - Псевдонаука, призванная оправдать миф об утопической формации и подвести под это оправдание научную базу. Боже, сколько драгоценного университетского времени было угрохано на эту чушь! Ведь мы изучали сей предмет

целый год! Еще и государственный экзамен по нему сдавали.

– Кама, как вам вообще удалось выжить и сохранить здравый рассудок?

– По всей видимости, у меня иммунитет. Доставшийся по наследству.

– И это то, что очаровывает меня больше всего.

– А у вас дети есть? – спросила Кама.

– Нет.

– Почему?

– Причина напрямую связана с прекращением моих отношений с Самантой. Мы никак не могли договориться о том, как будем воспитывать детей.

– Еще до того как...

– ... они появятся. У Саманты сестра была лесбиянка. И Саманта искренне считала, что детям с младенчества надо предоставлять свободу выбора пола.

– Каким образом?

– Мальчика рядить в платьица и играть с ним в куклы, а девочку одевать мальчиком и покупать ей ружья и танки.

– Бред какой-то.

– Именно. Я, естественно, с этим согласиться не мог. И в один прекрасный день она ушла. Честно говоря, я был рад, что мне не пришлось выставлять ее из дома.

– Давно это случилось?

– Через четыре года после нашей второй встречи. А почему вы расстались с мужем?

– Надоело быть душой. Тем более что я таковой себя не считаю.

– А я тем более, – улыбнулся Лайонел.

Шницели были съедены и вино выпито. Они вышли под остывшее небо Зальцбурга, и Лайонел проводил Каму до ее гостиницы.

– Кама, я ведь на самом деле не собираюсь вас отпускать, разве что до завтра, – прощаясь, сказал он и опять поцеловал ей руку.

– Спасибо за отсрочку, – поблагодарила она, – спокойной вам ночи.

Июнь 2008. Вирджиния

Телефонный звонок вырвал Каму из постели в пять утра.

Ночные звонки ничего хорошего не сулили. Последний, месяц назад, сообщил о смерти матери Лайонела.

Посмотрев на определитель номера, сердце ее упало: звонил Кеша.

– Мама, сядь, – повелительным голосом скомандовал сын.

– Ваня в роддоме.

У Камы отлегло от сердца.

– Как она?

– Все в порядке. У нас дочка. Ты сможешь приехать?

– Когда ее выписывают?

– Дня через три.

– Постараюсь. Если достану билет на ближайший рейс.

– Не суетись. Пару дней мы и сами справимся. Мы рассчитывали на Зорицу, но Дарко загремел в больницу, и она не может его оставить.

– А что с ним? То-то я от них в последние две недели ничего не слышала.

– Ему вырезали грыжу, а кровь не свертывается.

– О, Господи!

– Ты только Ване об этом не говори, а то у нее молоко пропадет.

– Ладно, все поняла, пошла билет заказывать.

– Позвони, чтоб я знал когда тебя встретить.

Кама положила трубку.

– Чтонибудь случилось? – спросонья спросил Лайонел.

– Погоди, ты не знаешь где номер транспортного агенства, в котором Джуди работает?

- Посмотри в ящике стола и объясни наконец, что происходит, – настойчиво потребовал он.
- У нас внучка! – наконец выпалила Кама и с размаху плюхнулась на кровать, так что Лайонел из нее чуть не вылетел.
- И ты наострилась в Москву?
- А как ты думал?
- Так надо же подарки купить. Почему они раньше не сказали?
- Давай все-таки для начала позавтракаем, – осадил мужа Кама, – тем более что Джуди работает только с восьми.

Два дня спустя. Москва

- Мама, ты даешь, – сказал Кеша, с трудом затолкав два увесистых чемодана в багажник своего Фольксвагена.
 - А этот можешь на заднее сиденье положить, – кивнула Кама на небольшой саквояж.
 - Что в нем? – полюбопытствовал Кеша.
 - Мои пожитки.
 - А в тех что?
 - Приданое для нашей внучки. Как вы ее нарекли?
 - Злата. Она совершенное солнышко. Ты ее сегодня увидишь.
- Кама обняла сына и, когда они сели в машину, вдруг спросила:
- Кеша, я надеюсь, ты не собираешься здесь оставаться?
 - Почему ты спрашиваешь?
 - Потому что у меня нехорошее предчувствие. А меня предчувствия редко обманывают.
 - Ты это серьезно?
 - Абсолютно. Неужели ты не понимаешь, что происходит?
 - Произошла смена лидера.
 - Отнюдь. Лидер остался тот же. Просто отошел на второй план, а на первый для отвода глаз выставил марионетку. Он вернется. На пожизненное царствие.

Поверь мне, я прожила в этой стране достаточно долго, чтобы научиться отличать зерна от плевел.

– Я получил приглашение в Берлинский симфонический оркестр, – помолчав, с приглушенной гордостью выговорил Кеша. – Контракт на десять лет. Что ты думаешь?

– На твоём месте я бы не раздумывала.

– Мама, прости, я просто хотел знать твоё мнение. Я уже подписал контракт.

– Умница. Значит, надо продать квартиру.

– И ты на это согласишься?

– У вас жильё в Берлине есть? Нет. Деньги на него есть?

– Частично.

– А если московская квартира вам не нужна, то сейчас самое время от неё избавиться. Да и мебель переправить в Берлин особых трудов не составит.

– Скажи честно, тебе не жаль со всем этим расставаться?

– Жаль, Кеша, не то слово. Но больше всего жаль нашу несчастную страну. И я рада, что могу прожить остаток дней по-человечески, чего и тебе от души желаю.

– Многие ставят в вину Ельцину то, что он оставил преемнику весь хаос девяностых.

– А ты не задавался вопросом, кто этот хаос устроил и в итоге сожрал Ельцина?

– Задавался.

– И к чему пришел?

– *Нет на земле такого негодяя, который дрянью не был бы притом.**

– Как хорошо, что ты еще в детстве усвоил мои уроки.

– Ты лучшая мама на свете, – повернулся к ней Кеша, притормозив на светофоре.

* Парафраз слов Гамлета: *There's ne'er a villain dwelling in all Denmark*

But he's an arrant knave.

Кама улыбнулась и щелкнула сына по носу.

Две недели спустя. Вирджиния

– Привет, дружище, – Лайонел распахнул дверь, соорудил гримасу и картинным жестом пригласил Марка войти.

– Сколько лет, сколько зим, – раскатился басом Марк. – Зря ты в комики не пошел. Из тебя бы классный получился. Вроде Граучо Маркса.

– Если ты помнишь, у меня и аудиенция была назначена. Да экзамены помешали.

– Не жалеешь?

– Пожалуй, нет. Иначе наши пути с Камой вряд ли бы пересеклись.

– Как давно это было? – Марк взял со стола свадебную фотографию друга и пристально всмотрелся в нее. – Не могу поверить, что тут ей почти пятьдесят.

– Через год будем справлять розовую свадьбу. Кажется, ее еще называют оловянной, но розовая мне нравится больше. Кама не изменилась. Разве что чуть поседела.

– Как тебе живется?

– Как в раю.

– А где Кама?

– В Москве. Пестует новорожденную внучку.

– Тогда почему ты здесь, а не там?

– Поди получи визу в эту страну. С туристической и то волокита, а с частной вообще труба. Каме просто некогда этим заниматься. Не беда. Когда дети в Германию переедут, проблем с визитами не будет. Что нового у тебя?

– Вторая внучка. Скоро месяц.

– Есть повод выпить за прибавление в обоих семействах. Виски или вино?

– Лучше мартини.

Лайонел приготовил напитки, и они расположились на диване в просторной, со вкусом обставленной гостиной.

– Ты знаешь, мне очень интересно, какова судьба той пластинки?

- Которую я тогда отдал Молли?
- Ага. Неужели ты до сих пор не спросил Каму?
- Нет. Откровенно признаюсь, я боялся. Боялся разрушить чудо, которое случилось с нами. Потому что если пластинка попала не к ней... Она мне за все эти годы ни словом не обмолвилась. Да и какое это теперь имеет значение?
- То, что она не обмолвилась, значение имеет. Ты не поверишь, меня это настолько занимало, что я перед визитом к тебе заехал в Нью-Йорк и навестил Молли.
- Ты шутишь!
- Нисколько. Она, конечно, уже глубокая старушка, но соображает неплохо. Рассказала мне в подробностях все о той поездке, но имя девочки, которой подарила твою пластинку, вспомнить не могла. У нее вообще с именами проблема.
- А что-нибудь сопутствующее?
- Девочка была русоволосая, с распахнутыми глазами.

Август 2008. Москва

Купчая была подписана, деньги уложены в банк и фургон для перевозки вещей заказан. На очистку помещения давалось две недели. Ваню со Златой Кеша отправил в Черногорию к родителям. Дарко уже поправился, и они оба с Зорицей не чаяли увидеть внучку. Квартиру в Берлине Кеше подыскал администратор оркестра, и Кама планировала улететь вместе с сыном, чтобы помочь ему устроиться на новом месте. Оставалось разобрать последнюю кладовку, где хранились коробки со старыми письмами, фотографиями и разной прочей ерундой, до которой у нее никогда не доходили руки. На третье утро она наткнулась на ящик с пластинками и утонула в воспоминаниях.

– Мама, ты не хочешь позавтракать? Я порядком проголодался, – робко поинтересовался Кеша, осторожно коснувшись ее плеча.

- Сейчас, – очнулась Кама. – Ты уже встал?
- И даже зарядку сделал. Похоже, что твои прогнозы оправдываются.
- Ты о чем?
- Россия вторглась в Грузию. И, конечно, во всем виноват Саакашвили.
- Как водится. Вечные поиски врага, который мешает России встать с колен.
- Сегодня это Грузия, а завтра будет Украина. Или НАТО виновато. Козлов отпущения не счесть. На себя только времени оборотиться никогда не хватает.
- Теперь я понимаю, что ты имела в виду.
- Посмотри-ка, что я нашла, – Кама выудила из ящика старую пластинку на 78 оборотов и подала сыну.
- Вау, – изумился Кеша, – сколько ж ей лет? «Let's twist again» была популярна в начале шестидесятых. Я не ошибся?
- Нет.
- А откуда она у тебя?
- Американки подарили в шестьдесят четвертом. За то, что я им спела «Пусть всегда буду я». Теперь в моде «Я была».
- Постой, здесь какая-то надпись. Карандаш почти стерся... Лупа есть?
- Есть. Но мне она не нужна. Я прекрасно помню, что там написано.
- И что же?
- «Девушке моей мечты».
- А кто написал, знаешь?
- Знаю. Мой муж.
- Мама, не смей меня.
- Не буду. Но ответь мне на один вопрос: ты в чудеса веришь?
- Кеша на мгновение задумался.
- Конечно, верю. Ведь начиная с Зальцбурга, они шли сплошной чередой.

– Вот и я тоже, – подмигнула ему Кама. – Пошли завтракать.

Сентябрь 2008. Вирджиния

Лайонел встречал ее с цветами. На нежно-кремовых, плотно сжатых розах еще дрожала роса, и Кама поняла, что он купил их по дороге в аэропорт у цветочницы, которая вязала им букеты на свадьбу.

– Милый мой романтик, – сказала она, прикинув к нему, – можно подумать, что мы не виделись целую вечность!

– А три месяца не вечность? – шутливо спросил он и поцеловал ее долгим поцелуем.

– Прости, что я так задержалась, но мне надо было помочь Кеше.

– Квартира приличная? – поинтересовался Лайонел.

– Вполне. И не очень дорогая. На первое время сгодится. Потом вместе купят то, что им обоим понравится.

– А как малышка?

– Прелесть. Полностью оправдывает свое имя. И внешностью, и поведением.

– Я тут слушал Кешины опусы по радио. Без обиняков скажу: талантище!

Кама зарделась от удовольствия.

Они добрались до дому, когда уже совсем стемнело. Пока Кама разбирала чемоданы, Лайонел хлопотал на кухне.

– Первый тост за внучку, – торжественно объявил он, разливая любимый ими обоими аргентинский шираз.

– А второй за бабушку с дедушкой, – поддержала его Кама.

Таявшие во рту стейки растаяли окончательно, и, когда перешли к десерту, Лайонел напустил на себя таинственный вид.

– У меня для тебя сюрприз!

Заинтригованная Кама обратилась в слух.

Лайонел включил компьютер. На экране появилась
жизнерадостная группа молодых людей, самозабвенно
танцующих твист.

Let's twist again, like we did last summer,

Let's twist again, like we did last year...

Он смотрел на нее в упор, не отрываясь.

Кама молча встала, ушла в спальню и, вытащив из
чемодана тонкий пакет, бессильно опустилась на пол.

– Кама, что с тобой? – в тревоге спросил прибежавший
следом Лайонел.

Она протянула ему пластинку.

Он прижал ее руки к своим губам и заплакал.

*Марина Тюрина-Оберландер, филолог, поэт и
переводчик. Член Союза писателей XXI века.*

*Родилась в Ленинграде в семье выдающегося
ученого-почвовед. С 2000 года живет в Вашингтоне.*

*Переводы печатались, начиная с 1976 года, в
"Литературной газете", журналах "Иностранная
литература", "Весь свет", "Крокодил", альманахе
"Поэзия" (изд-во "Молодая гвардия"), антологиях
"Современная датская поэзия", "Современная норвежская
поэзия" (изд-во "Радуга"). Оригинальная поэзия
печатается с 2008 года. Книга "На острове рубеже
пространства" ("Водолей Publishers", 2008 г.), публикации
в журнале "Большой Вашингтон" (2009-2010 гг.).*

*Недавно у Марины Тюриной-Оберландер в
московском издательстве "Водолей" вышла новая книга
поэзии и прозы "Музыка слов".*

ГЕННАДИЙ КАЦОВ

СУММА ПОВТОРЕНИЙ

Сквозь воспоминание

Я, в общем, и не помню ничего:
Аппиева дорога и телега,
Немного солнца, смёрзшегося снега,
Дорожных герм земное статус кво.

Привычная латынь, прямая речь,
Возничий с сыном в долгом разговоре
С надеждой летом побывать у моря:
Осталось шесть денариев сберечь.

Но главное – отсутствие лица,
Скороговоркой голос, и сквозь зиму,
Как бы из Рима, а возможно, к Риму,
Дорога без начала и конца.

И свет, холодный небывалый свет,
Который уравнил спустя столетья
Тех, кто тогда не проживал на свете –
И тех, кого с тех пор на свете нет.

Галатея

Как приятно обнять тебя сзади, прекрасная дама,
Твои гладкие груди прохладны, и белые плечи –
Обработанный мрамор, что кажется более вечен,
Если «более» употребимо в сравнении данном.

От сомнительной пары, от робости двух одиночеств
Если чувства рождаются – больше над ними ты властна,
Чем живая натура: ни слова, ни взгляда, ни ласки
От тебя не дожидаться. Свидание близится к ночи,

Но по-прежнему ты неподвижна, и комната, где я
Постигаю безумие, жаждет вместить твоё тело,
Стоит только однажды вздохнуть, если б ты захотела,
Или если бы я за тебя это смог, Галатея.

Здесь религия то, что искусством обычно считают,
И твой мускусный запах подмышек – в желании, данном
Словно с пляжей футбольных неведомой Копакабаны,
Словно с первых пассажей «Каприса», что в вечности
тают.

Витрина

Нет, ничего не осталось от звона
Чашки с тарелкой в кафе угловом,
Шумной «тойоты», проехавшей вон
В том направлении. Слева с балкона
Мыльный пузырь, умножаем на сто,
Падает в синюю бездну и кто-то
Это заметил: студент с бутербодом
В худи холщовом, мужчина в пальто,
Женщина вдоль тротуара с бульдогом,
Что, задирая глаза в высоту,
Дальше идёт, наблюдая как в ту
Бездну пузырь улетает. Недолго.

Мимо, зевая, прошёл пожилой
Чёрный священник и скрылся за дверью
Чьей-то прихожей – при ней в виде зверя
Лев, что изваян, почти как живой.
Собственно, лев со вчера и остался
Блекнуть в витрине, но больше из тех
Нет никого, кто бродил в виде тел,
Кто так активно вчера отражался.
Нету летящего вверх пузыря,
Странного шарика, что разукрасил

Несколько сразу фасадов – напрасен
Был этот праздник и, в общем-то, зря.

В лавке по-прежнему пыльно и тесно:
Медь, гобелены, случайный корсет,
Греческой вазы известный сюжет
С чёрной царапиной вместо Гермеса.

Покрывало Индры

*«Мир – это покрывало Индры, оно состоит из дхарм.
Дхармы не существует,
она лишь отражение другой дхармы...»*
А. Драгомощенко

Повторение в зеркале есть тот сакральный миг
И его отраженье – по образу и подобию,
Скажем, Слова, создавшего сей иллюзорный мир
От зачатья его и до надписи на надгробье.

Как из люрекса, ткань, опускаясь века, блестит,
Опадает, должно быть, как занавес в освещённом
Театральном пространстве – и зрителя не спасти,
Ибо падают вслед потолок, бельэтаж, колонны.

Остаются в грядущем подобья; их без конца
Будет луч повторять по слогам, подобрав детали,
Чтобы так сохранить все черты твоего лица,
Чтобы где-нибудь *там* мы друг друга с тобой узнали.

1.

Тих заоконный звук
В утреннем декабре –
Что-то одно из двух:
Речь, или чаще бред,

То есть, невнятный хор
Веток и в них лучей
Солнца, что с давних пор,
Но не понять, зачем?

2.

То есть, дрожит, слоист,
Воздух с дорогой в нём;
Краток и не речист
Там, за окном объём,
Чей заунывный спич,
В честь, видно, декабря,
Зрителю не постичь,
Да и не разобрать.

3.

Странно, что говоришь
В рифму, в размер, в строку:
Можно вписать «Париж»,
Сразу вписав «Баку»,
Странствовать в речи, в ней
Верить в свои слова,
И, без других, верней
Свой повторять словарь.

4.

И как его же часть,
Временный результат,
Можно затем молчать,
Словно навек устав,
Ибо затем, потом,
Как бы язык ни мог,
Речь – продолжение в том,
В чём и *здесь* одинок.

Так сложилось

Из осенних примет: здесь опавшие листья не жгут,
Их увозят в бумажных мешках на расстрел на рассвете –
Это всё же гуманней – и веткам оставленным ветер
Дым костров не доносит, и слово хорошее «гуд»
Вместе с «бай» получаешь, но лет через десять, в конверте.

Нет здесь дворников, то есть никто никуда не метёт,
А зимой не помашет сугробу широкой лопатой,
И последний листок, в ноябре обещавший не падать,
Здесь готов, провисев, повстречать наступающий год,
Если б время ни вышло всеобщей любви и распада.

Под дождём все похожи, и если считать по зонтам,
Остаётся, смотря на толпу, повторять: «Были б живы!»
Каждый третий – второму всё больше и больше чужими,
Говоря на одном языке, к этой осени стал.
Даже буквами, Чёрным по Белому морю, сложились.

Первый снег

Часах в шести от нас метель заносит
Почти по подоконники дома:
Выносит осень зиму на подносе -
Диковинным изделием зима.

Там снег идёт, часами покрывая
Кленовый лист, и он в ночи блестит,
Как бы навек из мрамора изваян.
Но это там, от нас часах в шести.

У нас же ноября благодаренье,
И красный с жёлтым, отправляясь в путь,
Ещё живут мечтой о воскресенье
В далёком марте, иль когда-нибудь.

К 22 ноября

Ты в бесконечности, где не сквозит сквозняк
И не смолкает эхо
Вечность от мысли о том, что совсем на днях
В гости могла приехать.

В тех параллельных мирах, что похожи на
Ночи и дни, незримо
Нас разделяет всезвёздная пыль, стена,
Из некролога снимок.

Чтобы преграду снести, чтобы к ней прийти
Только рукой коснуться –
Надо лишь веки прикрыть, считать до пяти,
Крепко уснуть. Не проснуться.

Отцу

Если так повезло, что родился, привычно дрожи:
Первый признак живого – биение пульса в утробе,
То, что можно затем у виска осторожно потрогать,
И что кто-то в запястья с рожденья до смерти вложил,

Что затем соразмерно дыханию: выдох и вдох
К океану души (он внутри, а в дальнейшем – снаружи
Относительно тела), как время прилива для суши,
Что на смену отливу; как «от» чередуется с «до».

Зренье знает пределы пространства, с его глубиной,
Измеряемой эхом, забытым мгновеньем, походкой,
Скрипом ржавых уключин, когда появляется лодка,
Оснащённая вечностью, проще сказать – тишиной.

Обязательность жизни – вставать по утрам и идти;
Открывая глаза, непременно глядеть на предметы;
И дышать, и писать, сочиняя хоть эти куплеты,

Хоть другие, которыми всё же себя не спасти.

Искупления нет и вины. Вещь, теряя объём,
Исчезая в одном, в сообщённом возникнет сосуде,
Закричит и заплачет, как будто взывая о чуде
В первый раз, не поняв, что бессрочно находится в нём.

Элегия

Если только готова представить, представь, что в какой-то провинции Янь
Я за плошку варёного риса на рисовых чеках пашу всю неделю,
Что циновка, как спальное место, твердеет под утро, и в праздники дрянь –
Чашка рисовой водки под жалкую песню о вечном отсутствии денег.
Там и крыши, и стены из палок бамбука, что где-то, возможно, дизайн,
И сквозь щели на хижины наших соседей глядят день деньской наши дети,
А из всех новостей лишь рождения, свадьбы и смерть, остальное – деза,
Чтоб враги не узнали, как невыносимо на этом живётся нам свете.

Если только ты в силах представить, представь, как живя в заповедной глуши
Где-нибудь под Донецком, Луганском, в спокойной провинции, в тьму-гарагани,
Ты проснёшься с утра от чужих голосов и грохочущей массы машин,
Сразу зная, что жуткое время пошло, и мир прежний в забвение канет.
И чужие сорвут с петель дверь и, соря матерком, сразу ввалятся в дом,

С неприятной ухмылкой распроят о жизни, о самых
ненужных деталях,
Но уже их не выгнать, не вычеркнуть, как и грядущее
знание о том,
Что на них ты с годами сама, да и люди в округе похожими
стали.

Если только ты можешь представить, представь
беспощадное солнце и зной,
Вереницу телег и толпу убегающих беженцев в белые
горы,
Тучи пыли пока вдальеке – это значит, что и за тобой, и за
мною
Вышло верное войско Аллаха и, судя по выстрелам, будет
здесь скоро.
Нас преследуют, но если всё же удастся семьей от погони
уйти,
Мы узнаем потом – и в бессонных кошмарах нам видеться
будут их души,
Все сожженные заживо близкие, наши родные, которых
спасти
Не смогли, не успели их вытащить из пламенеющей ямы
наружу.

Время не возвращается, а потому и не лечит – ему всё-
равно,
Что с пространством и с нами, и как острова опускаются в
чёрное море,
И по ком звонит колокол, и почему он так часто звонит, и
оно
Почему нескончаемое льётся, веками течёт нескончаемо –
горе.
Разных судеб, страданий и страхов поток завершает
падение в Стикс,
А что дальше, и с кем предстоит, и расплата какая за лист
прегрешений?

Получается, слепо и не расплескав, можно долю свою
пронести,
Ну, а то, что другим ещё хуже бывает, не худшее из
утешений.

Геннадий Кацов в 1980-х был одним из организаторов легендарного московского клуба «Поэзия» (с 1987 по 1989 годы его директор) и участником московской литературной группы «Эпсилон-салон».

В 1989 году эмигрировал в США, где сделал успешную карьеру в области журналистики.

Вернулся к поэтической деятельности после 18-летнего перерыва в 2011 году. Автор семи книг, включая экфрасический поэтический проект «Словосфера», в который вошли 180 поэтических текстов, инспирированных шедеврами мирового изобразительного искусства, от Треченто до наших дней.

Его поэтические сборники «Меж потолком и полом» и «365 дней вокруг Солнца» вошли в лонг-лист «Русской Премии» 2014 и 2015 годов соответственно; «Меж потолком и полом» был номинирован на Волошинскую премию по итогам 2013 года. В том же году подборка стихов Геннадия Кацова вошла в шорт-лист Волошинского конкурса.

Является одним из составителей и авторов антологии «НАШКРЫМ», выпущенной в американском издательстве KRiK Publishing House в 2014 г.

БОРИС САНДЛЕР

ЧЕРНАЯ ТАРЕЛКА

Она висела на стене у нас на кухне, под самым потолком, похожая на пасхальный поднос, только поглубже, и целый день – с шести часов утра до полуночи – из неё что-то доносилось: то трескучая речь, то музыка, то песня. Черная тарелка стала как бы частью нашего семейства и, подобно каждому члену нашей семьи, всегда говорила, но не слушала, что ей говорят. Во всяком случае, так думали у нас все, кроме бабушки.

В доме у каждого из нас было свое отношение к черной тарелке. Дед, старейшина в семье, благочестивый еврей, проживший все годы до войны в местечке, уверял, что эта черная штукавина ничего общего с истинным благочестием не имеет, ума не добавит, потому что все ее словеса – из казенного источника. Больше того, дед полагал, что тарелка висит не просто так, они ее специально внедрили, желая знать, что каждый говорит у себя дома. При этих словах бабушка своим длинным костлявым пальцем протыкала воздух над головой, и если бы потолок не мешал, проткнул бы небо. «Поэтому надо остерегаться с каждым словом, не болтать лишнего».

А бабушка, в отличие от деда, выросла в Бельцах, в городе, где семья поселилась после войны, вернувшись из эвакуации. Она закончила русскую женскую гимназию еще в царское время, читала книги графа Толстого, играла на мандолине и (трудно поверить!) танцевала полонез. Она была совсем юной, когда ее родители устроили сватовство с родителями бабушки, и жених увез ее в свое местечко. Там постепенно обнаружилось, что бабушка вдобавок ко всему еще знает иностранные языки, иногда вдруг произносила «Финита ля комедия».

Бабушка целыми днями хлопотала на кухне и как

раз была довольна трещёткой, как она называла репродуктор. С ним хоть можно услышать слово, песню, иначе рискуешь совсем оскотиниться.

Родители мои целыми днями были на работе, так что к черной тарелке папа только вечером слегка прислушивался, после ужина, когда передавали последние известия. Сделав громче звук, слушал новости из Москвы, заглядывая в газету «Правда», словно сопоставляя в мыслях услышанное и прочитанное. Мой отец был школьным учителем математики. Наверно, потому привык всё перепроверять, уточнять, в том числе и последние известия из Москвы. И порой в самом деле случалось так, что он находил у них расхождения, нестыковки, особенно когда дело касалось подсчетов.

– Забавно получается, - удивлялся папа, - здесь пишут одно число, а там называют совсем другое!?

– Смех и грех, куда ни глянь, - раздавался в ответ голос деда, словно он только и ждал замечания папы, готовый тут же оседлать любимого коня.

– Сразу после их вступления в наше местечко, в 1940-ом, все обитатели были на седьмом небе. Шутка сказать, сам усатый мессия пожаловал к нам собственной персоной! На другой же день прошли выборы за новую власть, и банщик Лэйбалэ сразу выбился в начальство, стал таким «я-тебе-дам!». Председателем местечкового совета. На третий день спохватились, что во всех магазинах и лавочках исчезли товары. На четвертый день, нет, накануне ночью, арестовали и выслали всех состоятельных людей местечка, а с ними и главного раввина. На пятый день закрыли все синагоги, а в главной синагоге устроили клуб...

Тут мама обычно перебивала рассказ деда из книги советского бытия, кивнув головой в сторону черной тарелки, точно напоминая старику его же собственные слова, что не надо болтать лишнего. Он сразу умолкал, будто одним поворотом отключили струю, текущую из

крана. В тот вечер все шло как-то не так. Может быть, дед стал бы рассказывать, что произошло в их местечке в шестой и седьмой день после прихода освободителей, но тут вдруг послышался зычный голос Мотла, племянника нашего деда.

– Что-то я не пойму, – каждым своим словом он будто забивал стальные гвозди в наш кухонный стол, – тебе, дядя, не нравится наша власть?

Недели две тому назад Мотл демобилизовался и стал, по определению моей мамы, достойно отслужившим «парнем на выданье». Она взялась пристроить его, найти ему достойную пару. А пока суд да дело, Мотл жил у нас, спал в одной комнате со мной на матрасе, лежавшем на полу.

Точно в шесть часов утра черная тарелка подавала голос. Тишину оглашал протяжный, словно с неба докатившийся аккорд, возвещавший мажорным тоном населению советской державы, что новый день, приближающий каждого её гражданина к коммунизму, наступил. Этих нескольких мгновений, пока аккорд наполнял все уголки нашего дома, было достаточно, чтобы Мотл вскочил со своего ложа и, покачиваясь, словно он стоял на кораблике, подносил правую руку ко лбу, отдавая честь. Глаза он не спешил открывать, опасаясь, видимо, расплескать ночные сновидения. И как только небесный аккорд умолкал, Мотл тут же валился на жесткий матрас и как ни в чем не бывало продолжал дрыхнуть.

В тот вечер, когда Мотл вмешался в рассуждения дедушки о советских освободителях и резко оборвал его речь, голос его звучал так, будто весомые слова произносил не лишь бы кто, а собственной персоной Юрий Левитан. Каждый раз, когда из черной тарелки вдруг раздавались эти два слова «Говорит Москва!», произнесенные известным диктором, у каждого из наших замирало сердце. Сам я, понятное дело, этого не чувствовал, но бабушка мне рассказывала, что во время

войны Юрий Левитан передавал все основные новости с фронта, которые далеко не всегда были радостными. И каждый слушал их, затаив дыхание.

– ... Не нравится тебе, дядя, наша власть?..

– Мотл... - отозвался мой отец, - думай, что ты мелешь!

– Не Мотл я, – прогремел его голос, – а Матвей!

Нависла тягостная тишина. Молчала и черная тарелка, будто прислушиваясь и пытаясь узнать, что в этом доме произойдет дальше. Заговорила моя мама:

– Ладно, пусть будет Матвей, - произнесла она и добавила в рифму: - но все равно еврей...

Сразу после ее слов тарелка объявила: «Театр у микрофона. Передаем инсценировку романа Достоевского «Идиот»...

Мотл обитал у нас еще недели две, после чего перебрался в общежитие мехового комбината, где его приняли на работу. Он был первым из всех наших родственников, кто уехал в Израиль.

А в нашем доме, оглашенном последними известиями с полей,строек, из фабрик и заводов, продолжалась будничная каждодневная жизнь. Дедушка после того, как закрыли в нашем городе единственную синагогу в ходе борьбы с религией, стал молиться дома. Бабушка хлопотала у плиты, продолжая нести свою вахту, каждое утро готовила маме и папе (каждому в отдельности) обеденные пакетики с едой, которые они брали с собой на работу. Меня же небесные аккорды не будили, под говор тарелки я научился спать, просто любопытно было смотреть, как Мотл отдавал честь. Оставшись один, я не спешил с подъемом, лежал на спине, подложив руки под голову, - позволял себе понежиться, слушая черную тарелку.

Может, в такие минуты ребяческой задумчивости я ломал голову, никак не мог взять в толк, как это получается, что у стены, на которой висит черная тарелка,

ничего нет, никакого аппарата, а из нее слышны живые голоса, песни и даже целые оркестры. Мотл, в армии служивший радистом, пробовал мне растолковать, что радиостанция посылает особые сигналы по проводам, ведущим к черной тарелке. К репродуктору. Вообще-то Мотл мне не соврал, я своими глазами видел провод, о котором он говорил. Но как по какой-то проволоке могут доноситься звуки и вылетать из тарелки, как птички из клетки? Что-то не то болтает этот Мотл, думал я тогда. Я же слышал, как дедушка однажды сказал ему: «За три года службы в армии тебе там хорошо вправили мозги».

Моей любимой радиопередачей тогда была «Пионерская зорька», которую слушал в ту пору почти каждое утро. Она обычно начиналась протяжным пением горна. И хотя до дня, когда стану пионером и начну носить красный галстук, было еще далеко, при звонком звучании горна мне хотелось вскочить с постели и петь вместе с теми мальчиками и девочками из черной тарелки:

Взвейтесь кострами, синие ночи,
Мы – пионеры, дети рабочих.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера «Всегда будь готов!»

Я мечтал стать летчиком и летать на реактивном истребителе. На таком, какие можно увидеть из нашего двора. Он пронесется в небе с оглушительным шумом, как внезапный гром в солнечный день. А за ним тянется белая полоса, которая постепенно расплывается, и самолет тает в густой синеве. Никак не мог я тогда уразуметь одну вещь: как в такой маленький, как игрушечный, самолет может поместиться летчик? Выходит, все летчики должны быть лилипутами?

По воскресеньям, в девять пятнадцать утра все наше семейство, кроме деда, слушало передачу «С добрым утром!». Усаживались за столом на кухне, как на праздничном обеде, и прислушивались к тому, что лилось

из черной тарелки. Можно было сэкономить, не ходить на концерт, потому что концерт с участием лучших артистов сам приходил к тебе прямо в дом. Единственным местом, где в нашем небольшом городе можно было увидеть живого артиста, был Дом культуры в центре, на улице Ленина, старое двухэтажное здание с четырьмя обшарпанными колоннами вдоль фасада. Как я слышал однажды от моей бабушки, в этом доме до войны помещался кинотеатр Шапиро – синема «Иллюзион», а сама улица называлась именем румынского короля Карола.

Летними вечерами и по воскресеньям лучшим местом для прогулок был пяточок в центре, который почему-то называли «Плэцл». Там можно было встретить знакомых или родственников, живущих в разных местах, видеться с которыми посреди недели возможности не было. «Плэцл», называвшийся так еще до войны, головой касался Дома культуры, а ногами упирался в парк. На «Коржике» можно было услышать разные семейные новости, городские сплетни, которые циркулировали в городе от одного воскресенья до следующего. Перед Домом культуры висели большие афиши, украшенные именами заезжих артистов, певцов, чьи голоса уже слышали по черной тарелке, особенно в передаче «С добрым утром». Мне это казалось чудом. Вот в наш город по заржавленным проводам поступает сигнал с их голосом, мы не видим их лиц, не можем прикоснуться к этим людям. А вот к нам пожаловали и сами эти знаменитости – собственной персоной, чтобы выступить перед публикой.

Моим родителям особенно пришлось по душе несколько артистов – Аркадий Райкин, а также веселая пара с забавными именами – Штепсель и Тарапунька. Райкин в своих выступлениях каждый раз менял свой голос: вот он только что гундосил, кланчил и жаловался, а вот он уже кричит на кого-то, как наш сосед орет на свою жену. Штепсель с Тарапунькой тоже очень смешные: Штепсель говорит по-русски ясно и понятно, а Тарапунька

тараторит на такой смеси русского с украинским, что я с трудом понимаю его разговор. За столом у нас все очень смеялись, покатывались от хохота, так и мне пришлось смеяться вместе с ними.

О том, что Райкин еврей, на «Плэцл» знал каждый встречный-поперечный, хотя по радио об этом никогда не сообщалось. Поговаривали также, что один из двух потешных комиков, Штепсель, – еврей, а Тарапунька – украинец. Штепсель – мелковат и с хитрецей, а Тарапунька – долговязый простака. И эта информация тоже проистекала не из черной тарелки. Но были очевидцы, которым посчастливилось видеть этих артистов в натуре на сцене нашего Дома культуры. Кстати сказать, «Плэцл» сам по себе являлся чем-то вроде огромной черной тарелки, где можно было услышать и обсудить (причем без всяких проводов) то, о чем обычная черная тарелка умалчивала.

Среди других радиопрограмм, чьи звуки заполняли нашу кухню, выделялась передача, носившая название «Концерт по заявкам радиослушателей». Дедушка, конечно, очень даже сомневался, что люди из разных городов и сел, якобы присылавшие заявки в радиокomiteeт, - доподлинные. Он настаивал на своем: «Врут! Всё у них враньё. Кто станет посылать им свое настоящее имя и адрес?» Так он утверждал, пока не случилось то, что случилось.

Мама, очень любившая петь и очень редко предававшаяся этому занятию, разве что во время вышивания своих картин разноцветными нитками мулине, получала огромное удовольствие от концертов по заявкам. Из них она узнавала о новых песнях, тут же сразу запоминала их – и мелодию, и слова. Много лет спустя я нашел среди старых вещей несколько тетрадей с пожелтевшими страницами и выцветшими чернильными записями, - тексты десятков песен, впервые услышанных мамой в концертах по заявкам слушателей.

Одно обстоятельство всегда вызывало у нее недоумение и печаль: почему никогда в этих концертах не передают ни одной еврейской песни? И вот бабушка однажды сказала ей то ли всерьез, то ли шутя: «Почему ты им никогда не напишешь?»

Похоже, мама приняла всерьез бабушкину подсказку и написала письмо по московскому адресу, который диктор постоянно озвучивал в конце передачи. Каково же было наше удивление и восторг, когда как-то вечером во время передачи концерта по заявкам вдруг услышали, как из черной тарелки назвали имя мамы и город, откуда они получили письмо. Сразу после этого зазвучала песня «Ицик уже поженился».

Тот вечер я помню поныне. Мамы как раз в кухне не оказалось, хотя ее любимая передача уже началась. Раздался бабушкин крик, она звала маму. На ее зов в кухню уже поспешили зайти папа и дедушка. (Дедушка ей, между прочим, сказал: «От такого крика могло показаться, что у тебя начинаются роды».) Ни слова в ответ не сорвалось с бабушкиных губ, она как бы оцепенела, замерла с таким непроницаемым выражением лица, на котором блуждала то ли еле заметная улыбка, то ли гримаса боли. Молча подняв руку, она пальцем указала на черную тарелку.

Песню эту исполнил знаменитый московский кантор и певец Миша Александрович. Я не уверен, что кто-то из моей родни до этого случая слышал когда-то это имя. Оно однако запечатлелось в моей памяти вместе со звуками веселой и незамысловатой народной песни о горемыке Ицике. Песню эту можно было бы обратить и к нашему родственнику Мотлу-Матвею. Тогда я впервые ощутил, глядя на маму, что слёзы из глаз могут течь по щекам и от радости.

В ближайшее воскресенье после этого концерта по заявкам «Плэцл» бурлил. Нечего сказать, событие! Кто мог представить себе такое: из черной тарелки – песня звучит

на идише, на еврейском языке. Разумеется, у нас знали, что в нашей мелихе, в нашей стране случайно ничего не происходит, особенно когда дело касается евреев. Новый хозяин Кремля, известный у нас на «Плэцл» как Плешивый, вероятно, передает через Ицика сигнал, что надо ждать перемен. К добру ли, к недобру – это уже покажет жизнь. Некоторые умники пошучивали, что добром мы уже сыты по горло, как бы не стало еще лучше. Дедушку моего эти разговорчики на «Плэцл» не задевали; он, наученный советским опытом в своем сгоревшем местечке, твердо придерживался мнения: «Этим бандитам верить нельзя!». А бабушка обычно обрывала его: «Верь, не верь, кутерьма всё равно останется».

Другое дело – моя мама. К ней стали подходить, расспрашивать, как ей это удалось. И, может быть, раз ее уже знают в Москве, стоит попробовать заказать другие еврейские песни. Ей даже подсказывали, какие именно. Например, «Бельцы, мой городок», или «Варнички», или «Мама не виновата». Один человек даже передал через нашу соседку записку с просьбой заказать по радио библейское песнопение «Овину-Малкейну». Устно его посредница добавила, что, если понадобится, он готов внести плату наличными.

Я никогда не спрашивал маму, обращалась ли она когда-нибудь еще в радиопрограмму по заявкам, но с того вечера по черной тарелке я больше не слышал еврейских песен. Уже в Израиле, прожив там пятнадцать лет, мама как-то позвала меня на кухню, прикрыла дверь и рассказала, что через недели две после того памятного концерта ее вызвали в отдел кадров предприятия, где она работала бухгалтером, и оставили ее наедине с человеком в штатском. Он обратился к ней вежливо, представился, кто он есть и откуда пришел. Долгой беседы с ней не завел, но посоветовал – больше таких заявок в Москву не посылать. Есть люди, способные использовать ее искренние национальные чувства в неприглядных целях...

– Об этом я никогда никому не говорила, даже твоему папе, светлая ему память... Не хотела, чтобы он переживал...

Страх тех далеких, минувших лет еще трепетал в ее зрачках. И мне кажется, после той встречи в отделе кадров мама тоже начала думать, как бабушка, что черная тарелка неспроста висела на стене в каждом доме и что сигналы по проводам работали в двух направлениях.

В те 50-е годы, о которых я здесь вспоминаю, случилось еще одно происшествие, потрясшее мир и, как много других новшеств, не просто удивило и вызвало восторг, но также нагнало страху, даже ужаса.

В обычный осенний день 1957 года черная тарелка вдруг резко оборвала свою передачу. Стало слышно, как на сковородке шипят котлеты, которые бабушка жарила. Внезапная тишина обострила чуткий бабушкин слух. Она вытерла руки передником и подошла поближе к стене, где висела «трещотка».

– Что-то не нравится мне ее молчание, – произнесла бабушка, поглядывая вверх, точно ожидая оттуда ответ. Ответ быстро поступил. Он прозвучал голосом Юрия Левитана. Торжественно и протяжно, как он умел, несколько раз подряд он повторил те же два слова: «Говорит Москва!»

Бабушка вздрогнула и тоже неторопливо, чёткими шагами подошла ко мне, обняла мою голову и прижала к себе. Я почуял запах её фартука, вобравший в себя запахи всех приготовленных ею лакомств. Одним ухом упирался я в ее живот, другое ухо она мне прикрыла своей ладонью, как нарочно, чтобы я не мог услышать, что говорит Левитан. Я еле вырвался из ее рук и услышал незнакомое слово – Спутник...

В эту минуту в кухню вбежала соседка. Глаза ее были полны слез. Она хлопала себя ладонями по бокам и наперебой повторяла: «Скажите мне, пожалуйста, что это такое – спутник, космос?..» Бабушка, о которой вся наша

улица знала, что она окончила русскую гимназию, читала графа Толстого, играла на мандолине и танцевала полонез, под градом вопросов перевела дух, поправила платок на голове и уверенным голосом стала проявлять свои глубокие познания в русском языке:

– Спутник – это кто идет рядом, попутчик. А космос...

Она, видимо, спохватилась, что в русской гимназии царских времен про космос не проходили. На помощь ей подоспел дедушка, которого голос Левитана тоже заставил прислушаться к черной тарелке.

– Космос, шмосмос, – сказал он, – хорошее дело они не придумают!

– Только бы войны не было, – вздохнула соседка. – А то я сразу пугаюсь, когда слышу голос этого диктора. С тех страшных лет он меня преследует...

Ещё не один год черная тарелка доставляла сигналы из Москвы в наш дом, вовлекая наше семейство в сеть общественной жизни, которой тогда жили все. Другой голос, даже голоса слышались в нашем доме, когда папа купил радиоприемник «Белорусь-57», - дорогую, красивую вещь, ставшую частью скромного мебельного гарнитура в спальне родителей. Для радиоприемника прикупили низкий столик, и оба эти предмета задвинули в угол между шкафом и широким диваном, который бабушка с гордостью называла тахтой...

На стеклянной шкале приемника, который иносказательно стали именовать ящиком, были обозначены все крупные города мира, как на карте. Но папа искал одну единственную полоску, тонкую, как волос, где никакой город не был обозначен и в помине, но сквозь гул и треск помех можно было расслышать: Кол Израел, Голос Израиля...

Уже поздно. Из черной тарелки льётся тихая классическая музыка, словно провожая в вечность еще один завершившийся день. Дедушка после вечерней

молитвы все еще сидит за кухонным столом, заглядывая в свой молитвенник - Сидур. Почти все дни своей жизни довелось ему провести в двух разных мирах: в трудном и суетном мире, окружавшем его, и в мире его святынь, где он стремился найти правду. Нашел ли он её?

Бабушка сидит напротив него на узком диванчике, натруженные руки уронив на колени и прикрыв их фартуком. Её короткие ноги не достают до пола. Они медленно покачиваются навесу, как бы соскучившись по фигурам полонеза. Перед тем как отойти ко сну, она ставит на плиту чайник, полный свежей воды, чтобы закипел. Она заботится обо всем. На ночь должна быть припасена кипяченая вода, – мало ли для чего понадобится?

Папа уже заканчивает проверку школьных тетрадей своих учеников. Уверен, он не пропустил ни одной ошибки. Он всегда был начеку, когда речь шла о чужих ошибках. В начале семидесятых, когда появилась возможность выезда в Израиль, Мотл предложил осуществить это вместе с ним. Что же ответил ему мой папа? «Матвей, ты делаешь крупную ошибку».

Мама откладывает вышивку двух красивых роз на канве, натянутой на пальцы, – два тонких деревянных кружочка. Еще пара вечеров – и на тахте появится новая вышитая подушечка.

А я в тот час уже лежал в своей постели, едва прислушиваясь к тихим звукам музыки, убаюкивавших меня и постепенно сливавшихся с моими первыми сновидениями.

Перевел с идиша Михаил Хазин

Борис Сандлер – главный редактор старейшей еврейской (идиш) газеты –“Форвертс” (Нью-Йорк). Автор 14 книг прозы и сборников стихов.

Родился в 1950 году в молдавском городе Бельцы. Был профессиональным музыкантом, а после окончания Высших литературных курсов при Литинституте им. Горького (Москва, 1981-1983) работал на Молдавском телевидении, где вел программу –“На еврейской улице”.

В 1992 году репатрируется с семьей в Израиль. Работает в Еврейском университете (Иерусалим), возглавляет издательство –“Лейвик-фарлаг”; издает единственный в мире детский журнал на идише –“Киндункейт”.

С 1998 года живет в Нью-Йорке.

Книги и отдельные произведения писателя переведены на русский, английский, немецкий, иврит и другие языки.

Лауреат ряда престижных литературных премий.

АЛЕКСАНДРА ХОДОРКОВСКАЯ

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Мы дружили вчетвером. Я, Зойка, Любка и Таня Правовойрова. Все наши мамы были в разводе, только у Тани папа был в тюрьме. Зойка своего папу не видела никогда, Любка своего папу не видела никогда, Таня своего папу не видела никогда, я своего видела и очень любила. Но хранила тайну, боясь распада союза. Наша дружба была крепка нашим безотцовством. И вдруг мой папа дрогнул. Разбросал повсюду конфеты «Чапаев» и захотел подписать дневник. «Подкупает», - говорили маме соседи. У мамы от моего папы двое детей, поэтому подкупить ее было легко. И, походив по воле, наш папа к нам вернулся. А я продолжала хранить тайну. Как обычно на первой перемене задавался вопрос:

- Как твой? - спрашивали у Зойки.
- Не знаю, - гордо отвечала та.
- Как твой? - спрашивали у Любки.
- Не знаю, - пожимала плечами подружка.
- Как твой? - спрашивали у Тани.
- Сидит, - уверенно кивала она.
- Звонок! - не дожидаясь вопроса, я первой влетала в класс.

Вдруг в дневнике появилась запись: «Уважаемая мама! Просим прийти на родительское собрание». Накануне собрания папа объявил, что пойдет за отца.

- Мама там все знает, ты в коридорах запутаешься, - выдвинула я последний аргумент.
- А я возьму фонарь, - ответил папа, и я поняла, что так тому и быть.

Они его увидели, всё поняли и немедленно объявили мне свой пионерский «газават». На математике крепко прижимались спинами друг к другу, чтобы мой любопытный взгляд не проскользнул в их скучные ответы.

Глядя в окно, я подсчитывала воробьев, возводила их в степень, делила, умножала, но с ответом не сходилось. Птички смеялись и отлетали. Хорошо бы умереть назло всем, но так умереть, чтобы увидеть их лица.

Вечером, когда папа взялся за «Беломор», я сказала ему в спину:

- У меня трагедия.
- От чего? - спросил он.
- Не от чего, а от кого. От девочек.
- Кто виноват?
- Ты.

И я все рассказала. Как мы дружили вчетвером, как нам было без пап хорошо, как я его долго скрывала и как я не люблю математику, наконец. Папа курил, слушал и думал.

- Ты хочешь мое последнее слово?
- Хочу.
- Папа будет говорить, но чтобы была гробовая тишина. Гробовая.

- Папа, не пугай. Здесь темно.

Я ухватилась руками за край стола. С этим ничего нельзя было сделать. Как только он хотел делать серьезное заявление и начинал говорить красиво, все живое вокруг теряло самообладание и закатывалось под стол. Говорил он очень тихо и, видя, как отпадают рядом стоящие, я бежала к ним с криком: «Что? Что он сказал?» Папа в недоумении оглядывал публику, делал слегка обиженное лицо, но, ей-богу, гордился собой. И в этот раз он старался говорить тихо, красиво и серьезно. Русский язык стонал. Родительный падеж шел впереди и расталкивал всех. Это был его любимый падеж и как только я осознала это, повесила над своим письменным столом лозунг: «Да здравствует русского языка и родительного падежа!». Лозунги папа называл картинками и всем говорил, что эта картина про него.

Мы стояли на веранде, было холодно, не знаю, каким был «Беломор» на вкус, но на запах...

- Ты пойми сюда, - начал он тихо.

- Куда?

- Не перебивай папу.

- Ладно. Но дальше ты будешь говорить от первого лица.

- А я от какого говорил?

- От третьего.

- Где ты видишь третьего?

- Я вижу только первого.

- Начинается?!

- Всё. Давай сначала.

- По какому поводу мы собрались? – запутался папа.

- По поводу математики. Если хочешь, завтра можем собраться по поводу русского.

Вот это уже ему не понравилось.

- Тебя никогда не били. Ты разговариваешь с папой, как со своими девочками.

И тут я хлопнула себя по лбу.

- Папа! Мы же должны поговорить про мою трагедию с девочками. Где же твоё последнее слово?

- Одно тебе скажу. Лучше бы пошла мама. Лучше бы я в коридорах запутался. На собрании сказали, что ты скатываешься. Мое последнее слово. Завтра садись к Семенкову. Он тебя научит считать в уме.

- Сама не сяду. Все подумают, что я за ним бегаю.

- А если он сядет к тебе?

- Папа! Ты когда последний раз учился в школе? Тогда все подумают, что он бегаёт за мной.

- Всё! Спать! С тобой ни стань и ни ляжь.

- Не ляжь, а ляг, - сделала я последнюю правку.

Он посмотрел на меня фронтовым взглядом, рука взялась за ремень и я приготовилась к неизведанному.

- Ты что, хочешь меня бить?

- Бить?! – ужаснулся папа, засовывая «Беломор» за ремень. – Было бы кого. Сначала поправиться надо. И научиться считать в уме.

На следующий день наша классная вошла и сразу, по дороге от двери к своему столу, бросила в мою сторону:

- Александра! К Семенкову.

- Чего это? – не очень натурально удивилась я.

- Того. Подтягиваться надо.

И я отправилась в другой ряд, в самую гущу бритоголовых математиков. Бывшие подружки осуждающе глянули на меня и начали шептать друг другу то, что и я бы шептала, окажись на их месте. Но кто уже их замечал? Как Дюймовочка, я перелетала с парты на парту, вокруг были математические принцы и все оказались очень добры. На их предложение вместе делать домашние задания я быстро сказала «да»! «Лучшие годы нашей жизни» - это название старого фильма, а у меня были лучшие четверти моей жизни, ведь в школе жизнь измеряется четвертями. Одну четверть я ходила к Рубинштейну, где обедала, записывала рецепт струделя и просто сидела в обществе его домохозяйки-мамы, не знавшей производственных отношений. Другую четверть Резниченко - Вечная Пятерка из общей тетради читал мне анекдоты. Математических анекдотов у него не было. И у меня не было математического прогресса. Тогда я постучалась в спину Лени Менделевича.

- Леня, теперь твоя очередь.

Он посмотрел на часы и сказал:

- Чтобы была ровно в пять.

Ровно в пять я была у него, ровно в одну минуту шестого он дал мне такую задачу, что я сразу попросила воды.

- Воды нет, - сказал Леня. – С места не сходить, с моей мамой в беседы про кино не вступать. Можешь только дышать и решать.

Подперев кулаком некрепкую голову, я сидела и дышала. Через двадцать минут он склонился к моей пустой тетради.

- Что-нибудь получается?

- Только дышать, - вздохнула я.

Леня придвинул стул, взял чистый лист и...я переползла в шестой класс с крепкой тройкой, которой горжусь до сих пор.

Мои девочки довольно быстро сменили принципы на капроновые чулки. Они распустили свой тройственный союз и разбрелись по рядам, подсев к разнополым товарищам. На Ленинском субботнике мы с Таней мыли окно.

- Моего папу выпускают, - то ли грустно, то ли радостно сказала она.

- А они знают? - Я кивнула в сторону девочек .

- Да, они смирились.

Мы все смирились. Потом мы, конечно, ссорились и опять мирились, но это был уже нормальный учебный процесс. Когда мы собирались много лет спустя и обозревали прошлое, никто не мог или не хотел вспоминать пятый класс – лучший год моей жизни.

Любка меня провожала в Америку. Половина мальчиков в алфавитном порядке, от Айзена до Экслера, уже давно были там. Любка стояла в большой толпе и плакала. Когда была дана команда прощаться и все дернулись, по очереди хватая то меня, то мужа, то сына, Любка, дождалась своей очереди и, уложив свое мокрое лицо на мой воротник, прошептала: «Смотри там!». Она это сказала три раза, меняя умоляющую интонацию.

Смотри там! Куда смотреть? Что она имела в виду? Я все время смотрю.

На балконе стоит стул, я сажусь на него и плыву. « По волнам моей памяти»... На темном небе чиркнули спичкой, запах «Беломора» вытесняет все и любимый родительный падеж е хочет ни пяди уступить винительному.

- Не дыми над Америкой, папа, - тихо прошу я.

- Я могу говорить по-русски? – шепотом спрашивает он.

- Можешь по-русски. Погромче. И от первого лица.
Он промолчал или не расслышал. Все же, между небом и землей большое расстояние, слышно было плохо, да и виден был только огонек папиросы в его руке. Огонек мерцал, как звездочка, но я точно знала, что это «Беломор». Мы должны продолжить любимую тему.
- Я проиграла в борьбе с математикой, - призналась тихо. Рука с огоньком поползла вниз и мне показалось, что он взялся за ремень. «Нет, пепел стряхивает», - обрадовалась я.
- Кто же тебе все решает? - грустно спросил папа.
- А у меня калькулятор. Машинка такая счетная. Нажмешь кнопку - и сразу точный ответ.
- И что, даже пятизначные берет?
- Все берет. Теперь ты спокоен?
- Раз ты всегда знаешь точный ответ – я спокоен.
Он опять закурил, огонек в его руке сделал какой-то вираж, и я поняла, что он посмотрел на часы.
- Ты уходишь?
- Буду близко. Твоей машинке я не верю. А вдруг тебе нужен будет точный ответ?
Смотрела в эту страшную даль и ничего не могла различить: тучи, звезды, где-то сбоку луна, как он опять найдет дорогу?
- Ты в коридорах запутаешься, - предупредила я.
- А я возьму фонарь, - рассмеялся папа и бросил вниз горящую папиросу.

Александра Ходорковская родилась в Киеве. Закончила филфак Куйбышевского педагогического института. В 1990 г. переехала в США, г. Атланта, штат Джорджия. С 1992 г. работает в русскоязычной газете "Русский Дом".

Печаталась в США, Израиле, Германии, России.

КАТЯ КАПОВИЧ

Завтра статью кольнут одноразовой
и прольется скучнейшая кровь,
и не будет при этом Горацио
и красивых бессмысленных слов.

Не от знания ли просто учебника
репетирует каждый свой день
запоздалую звучную реплику
тихий, вежливый интеллигент?

Этак вскинется и нарисуетя
в черном зеркале наоборот,
и народу он вовсе без разницы:
«Иностранец» – вздыхает народ.

Длинное, темное, зимнее,
бабочки на вираже,
лунное, белое, синее
над темнотой пмж.

В это холодное небо
долго тянулись сыны
и получили – напевы
из неземной стороны.

И получили искусства
вечную пустоту
к собственной жизни в нагрузку,
к жизни – по сторону ту.

А между тем вот и этим
ходят по смятым цветам

с поднадоевшим куплетом —
там, там, там-там, там, там там...

Плачет гармоника злая,
лунатик идет по стене,
не окликай, дорогая,
он видит сияние рая
недостижимое, не...

Чуть в стороне от всех кликуш,
одна — серьезнее и строже,
другая на дитя похожа —
стоят две девочки средь служб.

Горят заплаканные свечи,
роняют желтоватый воск,
склоняются больные плечи,
в больных глазах рябит от блеск.

Глаза их детские упрямы
и от вранья защищены
из-под ресниц вверх смотрят прямо.
И что-то говорят черты.

...Что бог, который сам был нищим,
смешливым мальчиком в снегу,
чтоб крылья им из рукавичек
вязали, там шепнет кому.

Знаем чеховские штуки,
с медленным надломом дуги,
круги линз,
тихий вздох, застывший в ухе —
«боже». И уж в нашем духе —

«не божись».

И куда помчались стрелки,
словно барышни в горелки –
где-то далеко,
и в провинции у моря
зелье тихое от горя
горло обожгло.

Утра выстрел из обреза
и луна – кусок железа,
и на много лет
облаков сырое тесто,
жизнью меньше, больше места –
вот и весь ответ.

Ах, как сладко воздухом бензинным
золотым, морозным, никаким
подышать на свете – синим-синим,
тем родным, иль так, полуродным.

Ум растаял, всё на свете басни,
впрочем, не беда, а полбеда,
счастье – ерунда на постном масле...
Как хотим мы этой ерунды!

А в ответ приносит добрый вечер,
дар и слезы, холодечный язычок,
и поверх морковной розы – вечный
вздых любовников. Иль полувздых.

Катя Капович – двуязычный поэт, автор пяти поэтических книг на русском языке и двух на английском. В России до отъезда за границу в 1990 году не печаталась; первая книга "День Ангела и Ночь" вышла в Израиле в 91-ом году. После переезда в Америку в 92-ом выпустила роман в стихах "Суфлер" и сборники "Прощание с шестикрыльями", "Перекур", "Веселый дисциплинарий" и "Свободные мили".

Публиковалась в журналах "Знамя", "Новый мир", "Звезда", "Арион", "Новый Журнал", "Постскриптум", "Нева", "Время и мы", "22" и др. Начиная с 1997 года, пишет по-английски. Стихи на английском языке выходили в литературной периодике, включая London Review of Books, The New Republic, Jacket, Ploughshares, Harvard Review, The Antioch Review, The American Scholar и в антологии "Poetry 180" и "Best American Poetry".

В 2001-2002 году ей была присуждена национальная литературная премия Библиотеки Конгресса США за книгу английских стихов "Gogol in Rome", которая вышла в 2004 году в издательстве Salt (Англия) и в 2005 была в шорт-лист британского конкурса "Джервуд Альдербурге". Книга "Cossacks and Vandits" вышла в Англии в 2007 году.

В 2015 году вошла в лонг-лист —Русской Премии”.

К. Капович живет в Кембридже (США), работает редактором англоязычного поэтического ежегодника Fulcrum.

РОМАН СОЛОДОВ

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НУЖНА АТОМНАЯ БОМБА!

В американском сериале «Манхэттен», посвященном созданию самого страшного оружия в истории человечества, ученые, чтобы оправдать свое участие в этом проекте, ссылались на две причины: первая заключалась в том, что Германия тоже создает атомную бомбу и ее надо опередить. И вторая причина была не менее существенна: эта бомба положит конец всем войнам на нашей планете. Анализ первой причины можно отложить в сторону – американцы выиграли эту гонку к счастью для человечества. А вот вторую хотелось бы рассмотреть поближе.

С позиций сегодняшнего дня вера ученых в прекращение всех войн оказалась весьма наивной. Войны бушуют на планете. В основном в Азии и Африке, хотя и старушку Европу тоже не миновала эта напасть. О каком конце всех войн можно говорить, когда и сегодня практически весь Ближний Восток в огне, далеко от спокойствия на границе Украины и России и в Африке автомат зачастую решает проблемы вместо переговоров.

А ученые, по большому счету, оказались правы. Если принять во внимание, что они говорили о мировых войнах, которые потрясли человечество в первой половине XX столетия. Когда закончилась Первая мировая война то, по выражению Черчилля, «все были глубоко убеждены, что на всем свете воцарится мир». Фраза «война за прекращение всех войн» была у всех на устах. Идея Лиги наций овладела умами. А французский народ, проживший в страхе перед германским оружием почти пятьдесят лет, но ставший главным победителем в войне воскликнул «никогда больше!» Человечество потеряло порядка 10 миллионов человек.

Через двадцать с небольшим лет французы подписали униженный мир, но Вторая мировая война

только набирала обороты. Прошло долгих пять лет, в течение которых было убито более пятидесяти миллионов человек (какой «прогресс» по сравнению с Первой мировой!), прежде чем она закончилась атомными ударами по японским городам. А после этого действительно наступил конец мировым войнам. Семьдесят лет уже стукнуло! И не «миролюбивая политика Советского Союза» была тому причиной. Первопричина – наличие атомных бомб у двух сверхдержав и Великобритании. Потом к клубу присоединились Китай, Франция, Израиль (не признающий наличия у него атомного оружия), Северная Корея, Индия и Пакистан. Кажется, я «огласил весь список».

Что произошло, когда на Японию упали две бомбы? Ужас был! Весь мир содрогнулся. Фотография темного следа, оставшегося от человека, сидевшего в момент взрыва на ступеньках крыльца своего дома, обошла весь мир. Снимки развалин двух городов стали хрестоматийным напоминанием того, насколько страшно ядерное оружие. Не будем говорить уже о больших раках в результате облучения. Хотя количество жертв облучения мне кажется несколько преувеличенным. Достаточно сказать, что последний пострадавший от этого облучения умер всего лишь год или два назад. Завидное долголетие для облученного.

Но почему именно две бомбы? Да только потому, что японцы не сдались сразу после первого удара. Они хотели убедиться, что американская бомба не уникальна? Убедились. А сдайся они на следующий же день – не было бы Нагасаки.

С этого момента человечество вступило в новую эру. И польза от наличия (не применения ни в коем случае) бомб стала подтверждаться практикой международных отношений. Первый раз это произошло во время Берлинского кризиса, когда Сталин решил проверить Трумэна «на вшивость». Он заблокировал Западный

Берлин, находящийся на территории ГДР, отрезав все пути снабжения огромного города. Люди были обречены на голодную смерть, если не сдадутся. Трумэн не дрогнул. Был организован легендарный воздушный мост. Летающие крепости вместо бомб доставляли продукты, а дети называли эти самолеты шоколадными, потому что при полете к аэродрому американцы усеивали улицы Берлина пакетиками с шоколадными шариками.

Позволю себе отступление. Когда я узнал об этом, то подумал, что так же во время блокады можно было сбрасывать на улицы Ленинграда пакетики с макаронами, горохом, крупой... Что мешало? Безразличие к судьбам людей?

Сталин не решился вводить войска в ход. Ему хватило бы несколько часов, чтобы полностью пройти Западный Берлин. Его самолеты порой пролетали рядом с летающими крепостями буквально в метрах от них. У советских летчиков хватало мастерства для таких пируэтов. Но ни одного самолета не было сбито, ни один танк не переполз через границу. Сталин понимал, чем это грозит. Бомбы у него еще не было. Она была у американцев.

Карибский кризис навсегда вошел в историю как один из самых опасных моментов в противостоянии двух режимов. Сейчас мало кто задумывается о том, что Фидель Кастро в телеграммах буквально умолял Хрущева нанести ядерный удар по США. Эти телеграммы не печатали. Наверно, он не видел фотографий Хиросимы после бомбежки. А Хрущев наверняка видел. И Кеннеди тоже. И оба они знали, какую силу представляет всего лишь один взрыв бомбы.

А таких бомб у США и СССР уже было больше чем достаточно. Я помню письмо американских ученых, напечатанное в газете «Правде», где среди прочего говорилось о том, что бомб этих у американцев в восемь раз больше чем у СССР. И говорилось о том, что

количество бомб не имеет значения, ибо достаточно одной, чтобы нанести непоправимый вред любому государству. Его не зря напечатали в тогдашней газете. Надо было изменить общественное мнение советских людей, готовых пожертвовать своим благополучием из-за кубинцев. Хрущев понял, что надо отступить – убрать ракеты с острова Свободы. И американцы это поняли – они убрали аналогичные ракеты из Турции. И речь-то не шла о ракетах с ядерными боеголовками. Но проблема могла вырасти в ядерную войну, не прояви благоразумие обе стороны. Сейчас уже трудно представить, каков тогда был накал страстей. Охладила этот накал атомная бомба.

И как тут не вспомнить крылатую фразу тогдашнего министра обороны США Роберта Макнамары: «Лучшая гарантия мира – атомная бомба...»

Если не ошибаюсь, в конце семидесятых советская пресса вдруг начала кампанию против нейтронной бомбы. Это разновидность атомной, но с одним существенным отличием. Она не обладала такой же силой взрыва, но количество радиации при этом было во много раз выше. Ее на Западе прозвали «гуманной», что дало повод советским журналистам обвинить Запад чуть ли не в людоедстве. Вот, мол, гуманисты... Будут убивать людей облучением и оставлять дома нетронутыми. Для кого эти дома, задавался риторический вопрос.

Они не уточняли, каких людей. А ответ был прост – танкистов Советской армии. На границе с НАТО стояло 20 000 танков! Сегодня невозможно представить себе зрительно эту армаду. Я увидел эти танки (малую часть их) только в документальном фильме. Это производило впечатление. И легко можно было представить, что произойдет, если эта армада хлынет на Запад. Что и кто ее остановит? Остановила бомба. Через три дня после ее взрыва эти танки превратились бы в груды зараженного радиацией металла с мертвыми экипажами внутри.

Совершенно очевидно: только атомная бомба не позволила превратить холодную войну между СССР и США в горячую, когда убивают миллионами.

Последний пример – один из самых наглядных. Взаимоотношения Индии и Пакистана. Сколько было между ними войн, можно сбиться со счета. Побеждала, как правило, Индия. Но Пакистан она не оккупировала ни в коем случае, ибо ей своих мусульман хватало с избытком. Войны были кровопролитны, вытягивали соки из стран и в основном бесполезны. Исключением стала война, когда возникло государство Бангладеш на месте Восточного Пакистана. Индия перестала быть зажатой в кольцо.

И вот случился теракт в Мумбаи. Убито почти двести человек. Это был кошмар, которым мир жил несколько дней. Понятно было, откуда пришли террористы, кто за ними стоял – Пакистан. И казалось бы – надо объявлять войну, чтобы отвести соседей от таких актов. Но не было ничего. Когда же спросили главнокомандующего индийской армией, почему не объявили войну Пакистану, его ответ был краток: потому что у Пакистана есть атомная бомба! И ничто дальнейших разъяснений не попросил.

После появления бомб у двух государств, прекратились войны между ними. Все «выродилось» в мелкие стыки на границе из-за Кашмира. Там очень напряженная обстановка. Но о полномасштабной войне речь не идет. И это уже можно считать счастьем.

(Ремарка на ту же тему. Если бы Украина не повелась в середине 90-х на посулы и обещания о территориальной целостности и неделимости страны и не рассталась в ответ на это со своим ядерным оружием, я хотел бы посмотреть, как Путин аннексировал бы Крым и начал военные действия в Донецке и Луганске...)

Ситуация с атомной бомбой Пакистана удивляет не только тем, что он в относительно короткий срок создал атомную бомбу, но и тем, что это не вызвало особых возражений на Западе. Стремительность разработки атомного оружия в Пакистане объясняется отчасти тем, что руководил этим гениальный ученый Хан. Редкий мерзавец, готовый продать свои знания кому угодно. В частности, Северной Корее. А возражений особых это не вызвало потому, что мусульманский Пакистан никому не угрожал. В этом плане он выступил как вполне цивилизованная страна. Но когда передовые отряды талибов приблизились к Исламабаду на расстоянии 60 миль (высший пик их наступления), то в западной печати прошло короткое сообщение, что американцы уже разработали план вывоза атомного оружия с территории этой страны. Эта заметка была предупреждением, что фанатикам атомная бомба не светит.

Вот поэтому нельзя допустить, чтобы атомная бомба оказалась в руках иранских мулл. Совсем неважно, что в Иране 60% студентов – женщины, и по развитию нанотехнологий Иран вышел на восьмое место в мире, а талибы с незавидным постоянством взрывают школы, где обучаются девочки. Суть и тех и других одна – ненависть к Западу, а у Ирана, в частности, ненависть к Израилю. Рассчитывать же на их благоразумие и говорить о том, что муллы не самоубийцы, не приходится. Слишком уж часто взрывают мусульмане своих единоверцев вместе с собой. А уж о неверных и говорить нечего.

Вызывает удивление другое. Сравнить научные потенциалы Пакистана и Ирана это все равно что сравнивать деревню с мегаполисом. Но первый создал бомбу за несколько лет, а второй не может этого сделать уже десятилетиями. Почему? Не потому ли, что атомная бомба для Ирана стала фетишем, к которому надо стремиться, а достигать совсем необязательно? Атомная

бомба для иранцев превратилась в такой же недостижимый коммунизм, каким он был для советских граждан. Надо идти вперед к бомбе (коммунизму), преодолевая все трудности из-за санкций, наложенных проклятым Западом.

И буквально несколько слов о последнем заявлении Путина, что он привел в состоянии боевой готовности атомный потенциал России, когда аннексировал Крым. Возникло ощущение, что это потрясло только либеральные круги России. Запад никак не отреагировал. Думаю, что они поняли – это блеф. Не приказывал он «приводить». Причин не было. Все настолько проходило гладко в Крыму, а американская разведка настолько блистательно прошла этот захват, что даже думать о ядерном шантаже не было смысла. Но опасность таких заявлений в том, что они создают очень опасный прецедент: можно шантажировать атомной бомбой. Чего никто не делает в цивилизованном мире. Путин отступил от этого правила. Последствия такого отступления могут быть непредсказуемыми.

"Украинский кризис создал угрозу для стабильности отношений между Россией и Западом, в том числе в ядерном аспекте", – пишут в International New York Times экс-командующий Стратегического командования США Джеймс Э.Картрайт и Владимир Дворкин, бывший глава ЦНИИ Ракетных войск стратегического назначения РФ. Ныне Картрайт – председатель Комиссии по снижению ядерного риска "Глобальный ноль" (Global Zero Commission on Nuclear Risk Reduction), членом которой является Дворкин.

"Это стало очевидно в прошлом месяце, когда появились сообщения, что во время прошлогоднего кризиса в Крыму российские официальные лица в сфере обороны советовали президенту Путину задуматься о приведении ядерного арсенала России в режим тревоги", – говорится в статье.

По мнению авторов, безотлагательная задача России и США – переговорить между собой и минимизировать риск ошибочных пусков. Авторы полагают, что мы все еще живем по доктрине времен холодной войны, предписывающей три варианта: первый ядерный удар, пуск по предупреждению и ответный ядерный удар после атаки.

Пуск по предупреждению об атаке (поступающему от спутников или радаров) – самый рискованный сценарий. Провокации или технические сбои чреватые глобальной катастрофой. Киберугрозы повышают вероятность "ложных тревог" в системах раннего предупреждения.

По мнению авторов, риск нанести ядерный удар по ошибке должен побудить президентов России и США "в тандеме исключить из своих ядерных стратегий понятие пуска по предупреждению". Для этого следует восстановить переговоры между военными России и США, приостановленные из-за украинского кризиса.

"Чтобы подкрепить это соглашение, обеим странам следует воздержаться от проведения военных учений, включающих в себя тренировки по запускам ракет на основе информации систем раннего предупреждения", – говорится в статье

Когда российско-американские отношения наладятся, можно будет принять меры для детальной верификации, считают авторы.

"В периоды обостренной напряженности и более короткого времени на принятие решений растет вероятность ошибок людей и техники в контрольных системах. Пуск по предупреждению – рудимент стратегии холодной войны, опасность от него сегодня превышает пользу. Наши лидеры должны срочно поговорить и, как мы надеемся, договориться об отказе от этого устаревшего протокола, пока не случилась катастрофическая ошибка", – заключают авторы.

После появления атомной бомбы человечество вступило в новый век. Общество можно было уподобить младенцу, который знакомится с окружающим его миром. Все кажется незнакомым. Вот чайник, который стоит на плите, что это такое? Мама говорила, что горячий трогать нельзя. Ну ка, потрогаю! Ой! Как больно... Вот что такое - горячий. Пальчики обожжены... Нет, нет, нет! Никогда больше я трогать чайник голыми руками не стану. Хорошо еще, только пальчики обжег.

К сожалению, ситуация такова, что атомная бомба сегодня нужна. Иначе мир давно бы сгорел в пожарах «обычных» войн. Но взрывы атомных бомб над японскими городами ни в коем случае нельзя забывать.

У человечества, к сожалению, короткая память. Сегодня находятся мерзавцы, желающие, чтобы люди забыли о геноциде армян, Голодоморе, Холокосте и других преступлениях недавнего прошлого. А что? Нет фотографий, умирающих в газовых камерах, нет фотографий людоедства во время коллективизации, нет фотографий погибающих под саблями турок армян... Почему бы не затмить людскую память ложью, что масштабы трагедий преувеличены. Что не идет речь о миллионах, но о «каких-то» сотнях тысяч. И так далее...

С Хиросимой и Нагасаки такого не должно быть. Об этом надо говорить постоянно. В этом году будет семьдесят лет со дня взрывов. Эта трагическая дата должна быть выделена особо. Необходимо еще раз - в тысячный! показать кадры городов, а вернее того, что от них осталось после катастрофы, фотографию черного следа оставшегося от человека. Надо сделать все, чтобы атомное наследие, оставленное нам президентом Трумэном, не было забыто. Его можно проклинать, его можно считать военным преступником, ему можно отдать должное за это решение,

спасшее миллионы жизней японцев и американцев. Черчилль назвал это решение великим.

Но забывать об этом нельзя. Человечество должно помнить об «обожженных пальчиках» под названием Хиросима и Нагасаки для своего же блага. Только постоянная память об этой катастрофе позволит избежать атомной войны в будущем.

***Роман Солодов** – сценарист, писатель. Член Союза кинематографистов России. В 1991 году эмигрировал в США. Получил профессию технолога по радиоизотопной медицине, проработал по этой специальности почти 20 лет.*

За это время написал несколько романов, изданных в Москве, рассказы, повести, множество статей, опубликованных в русскоязычной прессе США. Недавно в издательстве «Литучеба» в Москве вышел его последний роман «Время откровений»

Автор нашего журнала.

Живет в Нью-Джерси.

МАРК ГИНЗБУРГ

“ПРОСТИ НАС ЗА ТО, ЧТО МЫ ПРОКЛИНАЛИ ЕВРЕЕВ”

«... на протяжении всей христианской истории раздаётся обвинение, что евреи распяли Христа. После этого на еврейском народе лежит проклятие. <...> Евреи распяли Христа, сына Божьего, в которого верит весь христианский мир. Таково обвинение».

Н. А. Бердяев, «Христианство и антисемитизм»

Со второго века н.э. основой христианского антииудаизма стало обвинение евреев в Богоубийстве. В описании суда Пилата иудеи, по словам *Евангелия от Матфея*, берут на себя и своих детей кровь Иисуса (Мф. 27:25). Назывались и другие их «преступления». Утверждалось, что евреи как народ проклятый и наказанный Богом должны быть обречены на «унижающий их образ жизни» (Блаженный Августин) с тем, чтобы стать свидетелями истины христианства.

Спустя 17 столетий, начиная с периода понтификата Иоанна XXIII (1958-1963), официальное отношение римско-католической церкви к евреям и иудаизму изменилось. В 1959 году Иоанн XXIII распорядился, чтобы из читаемой в Страстную пятницу молитвы были исключены антиеврейские элементы (например, выражение «коварные» применительно к евреям). В 1960 году Иоанн XXIII назначил комиссию кардиналов для подготовки декларации об отношении церкви к евреям. Перед своей смертью он составил покаянную молитву, для чтения во всех католических церквях. Он назвал ее «Акт раскаяния»:

—Мы сознаём теперь, что многие века были слепы, что не видели красоты избранного Тобой народа, не узнавали в нём наших братьев. Мы понимаем, что клеймо Каина

стоит на наших лбах. На протяжении веков наш брат Авель лежал в крови, которую мы проливали, источал слёзы, которые мы вызывали, забывая о Твоей любви. Прости нас за то, что мы проклинали евреев. Прости нас за то, что мы второй раз распяли Тебя в их лице. Мы не ведали, что творили”.

Но эту молитву так и не приняли. После смерти папы Иоанна XXIII она была похоронена в архивах Ватикана. Во время правления следующего папы - Павла VI в 1965 г. Второй Ватиканский собор снял с евреев обвинение в распятии Христа.

Четвёртая статья принятой «Декларация Nostra Aetate» говорит об отношении к иудеям. Особое внимание уделено общему для христиан и иудеев духовному наследию, напоминает про принадлежность к еврейской нации Иисуса, святых апостолов и многих из его первых учеников. Декларация осуждает антисемитизм и имевшиеся в прошлом его проявления. Особо подчёркивается, что хотя еврейские власти настаивали на том, чтобы убить Христа, крестные муки Спасителя не могут быть поводом для обвинения всех евреев, ни живших тогда, ни живущих сейчас. Документ подтверждает, что Бог не отменял Своего завета с евреями. За период понтификата Папы Иоанна Павла II (1978-2005) изменились некоторые литургические тексты: из отдельных текстов были удалены выражения, направленные против иудаизма и евреев, а также отменены антисемитские решения целого ряда средневековых соборов. А в 1985 г. Иоанн-Павел Второй, обращаясь к евреям, говорил: *«Вы - наши старшие братья. Вы - избранный Богом народ, и это избрание - навеки... Нет и не может быть никаких обвинений евреев в том, что они якобы несут ответственность за страсти Христовы».* Следующий Папа Римский, Бенедикт XVI, занимавший Святой престол с 2005 по 2013 г., в книге "Иисус из Назарета" снимает с евреев вину за гибель Христа. Третья

часть книги вышла в свет в 2012 г. одновременно на 9 языках (итальянском, бразильском, хорватском, французском, английском, португальском, испанском, польском и немецком) в 50 странах мира, а общий тираж первого издания превысил 1 млн экземпляров. Затем последовали еще 20 языковых версий книги.

Для доказательства невиновности евреев понтифик использует метод теологического анализа библейских текстов и разъясняет несостоятельность прежних интерпретаций, результатом которых стали антисемитизм и постоянные преследования народа Книги.

Предлагая вновь перечитать строки святого писания, Бенедикт XVI пишет "Спросим себя, кем в действительности были те, кто обвинял Иисуса?" - и добавляет, что в Евангелии от Святого Иоанна просто сказано - "еврей". "Но слова, которые использует Иоанн, не могут ни в коей мере относиться к народу Израиля в целом. Как мог весь народ присутствовать при этом и требовать смерти Иисуса?" - задается вопросом Бенедикт XVI.

Наконец, нынешний папа Франциск сказал, что "внутри каждого христианина сидит еврей", и заявил, что "нельзя быть настоящим христианином, не признавая свои еврейские корни" - "не в расовом, а в религиозном смысле", пояснил понтифик. Он сказал, что ежедневно молится словами псалмов Давида, как еврей, а потом совершает обряд евхаристии /причастия/ как христианин. В интервью испанской газете La Vanguardia понтифик выразил мнение, что диалог между иудаизмом и христианством должен включать исследование иудейских корней христианства и «расцвет иудаизма в христианстве». Папа высказался против любого религиозного фундаментализма, заявив, что в его основе всегда лежит насилие, а в наши дни насилие "во имя Бога" - это абсурд.

Есть и другие свидетельства того, что в позиции Римской Католической Церкви наметились принципиальные изменения по ее отношению к евреям.

Некоторые изменения наметились и в позиции общин христиан-протестантов, которые в целом вплоть до новейшего времени сохраняли враждебное отношение к евреям, унаследованное от средневекового христианства и закреплённое лидерами Реформации. На своей учредительной конференции в Амстердаме (1948) Всемирный совет церквей (организация, объединяющая большинство протестантских и православных церквей) принял резолюцию, резко осуждающую антисемитизм. На 3-й всемирной конференции этого Совета в Нью-Дели (Индия, 1961) была принята дополнительная резолюция с рекомендацией отвергнуть идею коллективной вины евреев за распятие Иисуса. В 1964 г. декларации против антисемитизма приняли влиятельные протестантские организации: Национальный совет христианских церквей США, Всемирная федерация лютеран, Протестантская епископальная церковь США и др. Для большинства протестантских церквей с этого времени антиеврейская направленность уходит в прошлое.

Что же касается русской православной церкви, то в ней, как пишет известный историк и политолог Вячеслав Лихачев, *«доминирует консерватизм и сопротивление религиозным новациям. В связи с этим ревизия доктрины негативного отношения к евреям, которая была проведена в католической и протестантской церквях, затруднена».*

Что же в результате, как повлияли откровения официального Ватикана и декларации протестантов на уровень вражды к евреям в мире? Особенно если учесть, что в середине 2013 года на земле проживало 2,3 млрд христиан, из которых 1,2 млрд - католиков Римско-католического направления и около 800 млн протестантов. Повлекло ли это заметное улучшение отношения к евреям

в мире или хотя бы в Западной Европе?
Ничего подобного! На наших глазах заканчивается полувековой период, в течение которого евреи и Израиль пользовались благосклонным отношением со стороны Европы, когда на Западе антисемитизм и антисионизм были по крайней мере неприличными явлениями. Антисемитизм сегодня маскируется антисионизмом. Конфликт между Израилем и Палестиной накалил обстановку во многих странах Западной Европы, по которым прокатилась волна антисемитских выступлений. Вспомним, к примеру, о двух столь различных странах: о Франции, светском государстве, где церковь и государство разделены и где к католицизму относит себя 57% населения, и о Норвегии, где по конституции евангелическое лютеранство является государственной религией. Где король Норвегии и по меньшей мере половина министров должны исповедовать лютеранство, и где государственной протестантской церкви принадлежат 82,7 % населения. Страны различные, а отношение к евреям в них одинаково плохое. Уже в октябре 2000 года на Елисейских Полях, на центральном проспекте Парижа прошла многолюдная демонстрация с криком: —Смерть евреям!». Уже тогда ни пресса, ни правительство на это не отреагировали. В ответ на запрос в парламенте премьер-министр ограничился заявлением, что он —действительно, против межобщинных распрей». Открытого осуждения так и не последовало. Сегодня же Париж называют «европейской столицей антисемитизма». Не редки сообщения: «Толпы митингующих скандировали: «Гитлер был прав!», «Смерть евреям!», «Перережем еврейские горла». «Демонстранты, в основном арабы, направлялись в еврейские кварталы, где били витрины, грабили магазины и подожгли синагогу», писала Le Monde. Сегодня у евреев Франции, число которых оценивается в 600-700 тысяч (это самая большая еврейская община после США, не считая Израиля),

ощущение полной беспомощности. Евреи все чаще чувствуют себя во Франции как в осажденной крепости. Не лучше положение в Норвегии. После начала второй интифады часть еврейских детей подверглись преследованиям в школах. В некоторых случаях эти преследования были поддержаны учителями. Во время Второй ливанской войны в Осло были зарегистрированы самые вопиющие случаи антисемитизма в Европе: обстрел синагоги, нападение на кантора на главной улице Осло и осквернение еврейского кладбища.

В феврале 2012 года, норвежская газета Aftenposten сообщила об исходе евреев из страны. Президент еврейской общины в Норвегии Анне Сендер заявила, что одна из главных причин этого: «Многие иммигранты приносят антисемитизм из своих стран. Позорно то, что никто не выступает против них в этой стране. В Европу возвращается антисемитизм. Норвегия станет первой европейской страной, без еврейского населения».

Почему же католики и протестанты не поднимают голос в защиту «своих братьев» евреев в этих странах? Может быть, причина в неубедительности деклараций о невинности евреев, мотивируемой тривиальным утверждением, что «свойства части нельзя распространять на целое» («вину группы евреев нельзя распространять на весь народ»). И в неэффективности изменения текстов отдельных молитв.

Не заметно широкой попытки исследовать, насколько правомочен был синедрион, осудивший Иисуса, да и был ли он в действительности еврейским судом, а не собранием марионеток. Не рассмотрена историческая обстановка, не обнаружена истинная роль римских властей в описанных евангелиями событиях.

Почему Папы Римские остановились на половине дороги. Не попытались дать более глубокого и доходчивого обоснования своему покаянию, не углубили свою трактовку текстов евангелий? Не привлекли анализ

характеров и действий исторических лиц? Несомненно, они, главы церкви, обладатели уникальной информации, знатоки писания, хорошо разбирались в сложных условиях древней Иудеи.

Надо полагать, у них были основания для такого самоограничения. Иногда – трагического. Возможно, и в этом также были причины для внезапного добровольного ухода в отставку папы Римского Бенедикта XVI.

Внецерковные попытки провести соответствующие исследования предпринимались многократно и приводили к разным выводам. Из недавних попыток стоит выделить две, интересные выводами, к которым пришли их авторы. Одно подробное исследование процесса над Иисусом выполнил известный израильский юрист Хаим Коэн (1911-2002), бывший министр юстиции и член Верховного суда, почётный доктор нескольких университетов США.

Отметив нарушения процессуальных норм в суде, описанном в Евангелиях, он пришёл к выводу, что Синедрион оправдал Иисуса. Отклонения от процедуры, по его теории, были сделаны, чтобы спасти Иисуса от казни. И что именно Римская империя, а не Синедрион, отвечают за осуждение и казнь Иисуса Христа. Кстати, в своем исследовании-бестселлере 70-х годов «Евреи, Бог и История» Макс Даймонд также считает правдоподобным, что Иисус был арестован евреями для того, чтобы защитить его от римлян. Но римляне потребовали, чтобы Иисус был передан в их руки.

Другой исследователь Марк Абрамович (1928-2004) на основе анализа текстов евангелий и их противоречий с еврейским законом и традициями того времени, утверждает, что эти тексты недостоверны и что основатели христианства сознательно заложили в основу новой религии клевету на еврейский народ и на Закон, данный ему Всевышним.

Немало было и курьезных попыток проникнуть в суть событий и даже попытаться вмешаться в них. Например,

недавняя, о которой 6 августа 2013 г. сообщил, 9-й телеканал Израила со ссылкой на The Daily Telegraph. Католик юрист Дола Индидис из Кении подал иск против Израиля и Италии за выборочное правосудие и распятие Иисуса Христа. Он убежден, что Израиль как страна евреев, и Италия как правопреемница Римской империи, несут прямую ответственность за убийство пророка. «Я подал иск, потому что это мой долг защитить честь Иисуса Христа. Я ищу правосудия в Международном суде в Гааге, который должен признать невинность мессии из Назарета».

Согласно иску, король Ирод, иудейские старейшины и Понтий Пилат во время рассмотрения дела против назаритянина Иисуса Христа нарушили его права человека и были предвзятыми. Таким образом, юрист из Кении требует от Международного суда пересмотра дела и признания приговора недействительным. Кроме того, он требует реабилитации Иисуса Христа и наказания для Израиля и Италии. В Международном суде заявили: «Международный суд не рассматривает такие дела. Это не в нашей юрисдикции. Мы занимаемся исками одного государства против другого, однако не религиозными делами, которым две тысячи лет».

Попробуем во всем этом разобраться, не выходя за рамки текста евангелий и за рамки исторических данных, безусловно, хорошо известных отцам церкви.

Прежде всего, **как выстроены обвинения.**

Кратко эти события в Евангелии от Матфея выглядят так. Иисус в последний раз пришел в Иерусалим к началу Пасхи, когда в город толпами шли сотни тысяч паломников. Ночью в канун праздника после пасхальной вечерней трапезы Иисус был арестован. Его отвели в дом первосвященника Кайафы, где собрался верховный суд - синедрион и старейшины. Иисус молчал, когда его обвиняли в угрозе разрушить храм. Но на вопрос

первосвященника: —*Ты ли мессия, Сын Божий?*” Иисус ответил: «Ты сказал», что можно было трактовать как утвердительный ответ. Тогда Кайафа призвал всех присутствующих в свидетели богохульства, и Иисуса приговорили к смерти. —*И плевали ему в лицо и били по щекам*”.

Утром отвели его к правителю - Понтию Пилату. Пилата интересовало другое. Он спросил: —*Ты ли царь Иудейский?*” Иисус также не стал отрицать.

Затем по евангелию Пилат, вспомнив местный обычай освобождать в праздник Пасхи одного преступника, предложил помиловать кого-нибудь из четырех осужденных, надеясь, что им будет Иисус. Но народ, —*подстрекаемый первосвященниками и старейшинами*”, потребовал освободить разбойника Варраву и, соответственно, отказал в помиловании Иисусу.

Отведя Иисуса на Голгофу и распяв его на кресте, римляне поместили над его головой надпись, объявляющую вину его: —*Сей есть Иисус, Царь Иудейский*”.

Таким образом, **Евангелия обвиняют евреев в двух преступлениях**. Первое относится к еврейским властям - верховному суду, осудившему Иисуса на смерть и убедившему прокуратора утвердить приговор. Второе - ко всему еврейскому народу, который отказался его помиловать.

О первом обвинении

В принципе, смертный приговор действительно мог быть вынесен и соответствовал бы еврейским законам, ибо подрыв основного принципа еврейской религии —*Бог наш, Бог один*” был тягчайшим преступлением. В Евангелии от Иоанна евреи так и говорят: —*Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божьим*”.

Но в том-то и дело, что на практике самые грозные законы

имели у евреев, так сказать, предупредительный, устрашающий характер. Синедрион, который лишь один раз за 7 лет вынес смертный приговор, вошел однако в историю с клеймом «палаческий».

Все судопроизводство было направлено на то, чтобы не допустить несправедливости по отношению к обвиняемому. А главное, судили за дела, а не за убеждения. Достаточно вспомнить дело апостола Павла, к которому спустя 30-40 лет после смерти Иисуса перешла ведущая роль в христианском движении. Когда Павла решили привлечь к суду за активные проповеди, идущие вразрез с традициями, глава синедриона того времени Гамлиель постановил: «Мы не можем судить за слова», и Павел не понес никакого наказания. И именно римляне впоследствии распяли Павла на кресте за нарушение законов Рима.

Но еще более важно – **описанный Синедрион вообще не имел права выносить смертные приговоры**

Правила судопроизводства и принципы построения суда детально рассматриваются в главе Санхедрин одного из шести разделов Талмуда «Незикин (Виды ущерба)»..

Эти правила были освящены религиозным Законом и многовековыми традициями, и малейшие отклонения от них, особенно такие, в которых ущемлялись права подсудимого, пресекались строжайшим образом.

В действиях же суда, описанных в Евангелиях, нарушены буквально все эти правила.

1. В эпоху Второго Храма **полноправный** Синедрион мог заседать только в Храме и только в «Налате тесанного камня». В тех редких случаях когда Синедрион заседал в другом месте, его права были ограничены, в частности, он не мог выносить смертные приговоры. Характерно также, что, кроме Большого Синедриона, практически в каждом городе Иудеи действовали Малые Синедрионы. Эти суды разбирали дела, в том числе и требующие вынесения

смертного приговора. Однако: если Большой Синедрион покидал Зал из Тесаных Камней, ни один суд не имел права выносить смертный приговор (Тосефта 11, Иерусалимский Талмуд 57).

По Евангелиям синедрион собрался на заседание в доме первосвященника и вынес смертный приговор.

2. Если преступление могло повлечь смертный приговор, то, как бы очевидны ни были обстоятельства дела, приговор не мог быть вынесен в тот же день. Ночь давалась судьям на размышления и на неформальное обсуждение, и только утром, большинством не менее чем в три голоса мог быть вынесен смертный приговор.

По Евангелиям приговор был вынесен в тот же день.

3. По еврейским правилам никто не мог быть арестован ночью, тем более - в праздник.

По Евангелиям Иисуса арестовали в пасхальную ночь после праздничной трапезы, т.е. в самый чтимый евреями праздник.

4. По Закону синедрион не имел права собираться и производить дознание и суд по субботам и праздникам.

По Евангелиям суд проходил именно в первый день пасхальных праздников.

5. По Закону никто не мог быть наказан до того, как суд вынесет приговор.

По Евангелиям Иисуса оскорбляли и били еще до суда.

6. Если в римском праве признание вины самим подсудимым - «Царица доказательств» (Regina probationum) - делает излишними все иные доказательства, улики и дальнейшие следственные действия, то по еврейскому закону признание обвиняемого никакой юридической силы не имело и во внимание не принималось. Соответственно теряли смысл давление на подсудимого и пытки.

По Евангелиям приговор был вынесен на основании слов (полупризнания - «ты сказал») самого обвиняемого Иисуса.

7. Судебные разбирательства после захода солнца были запрещены, однако ***зачинщики процесса проигнорировали и этот запрет.***

Более того, в нарушение всех правил Иисуса первоначально доставили *к Анне*, в дом человека, не обладавшего в то время официальной властью. Там, в доме Анны, и произошел первый допрос Иисуса. Ничего не добившись от арестованного, Анна послал его связанного к своему зятю, первосвященнику Каиафе.

8. По закону судьи не могли выступать в качестве свидетелей. А судья, который оказался очевидцем преступления, должен был отказаться от участия в суде, ибо виденное могло ожесточить его сердце и настроить против подсудимого.

По Евангелиям после признания Иисуса первосвященник Каиафа сказал: “На что нам еще свидетели!”.

Есть и другие явные отступления от буквы и духа еврейского закона, которые также делают нарисованную в Евангелиях картину суда над Иисусом полностью противоречащей еврейскому закону и традиции. Этого уже достаточно, чтобы усомниться в праве этого суда

называться еврейским судом. **И, следовательно, неверно утверждение, что Иисус был осужден именно еврейским судом.**

Но и это не самое главное. А главное то, что вместо заседания синедриона имело место собрание марионеток-заговорщиков, имеющее заранее поставленной целью осудить Иисуса. И этому есть серьезные свидетельства. Прежде всего, кто судьи?

Иисусу противостояли три главных действующих лица: первосвященники Анна (Ханнана) и Каиафа и римский прокуратор Понтий Пилат. Какова их роль?

В 6-м году нашей эры Иудея, Самария и Идумея становятся провинцией Рима под общим названием Иудея. В пределах этой провинции прокураторы обладали абсолютной гражданской и военной властью.

В 6-м году первым римским правителем Сирии, Квиринием, на пост первосвященника Иудеи был назначен **Анна**. Само «назначение» было оскорблением традиций, ибо в веках первосвященник избирался синедрионом и оставался им пожизненно. Семья Анны с ним во главе по сути осуществляла политическое и религиозное руководство государством. Анна удерживал за собой все основные должности, занимаясь, кроме того, и прибыльной торговлей жертвенными животными на территории храма. Согласно раввинскому преданию, в этой семье царили жадность, кумовство, притеснение и насилие. Неудобных членов синедриона убивали, а на их место назначали своих сторонников. Отстраненный в 16 году с поста первосвященника прокуратором Валерием Гратом Анна не только фактически остался при власти, но и контролировал через поставленных им лиц практически всю Иудею и по сути дела единолично распоряжался храмовыми должностями и казной. По мнению некоторых историков, именно Анна через своего зятя -

первосвященника Каиафу - организовывал решение о казни Иисуса как мятежника. Именно к нему в первую очередь - в то время неофициальному лицу - а не к Каиафе, тогдашнему первосвященнику, привели связанного Иисуса Христа и подвергли его предварительному следствию. Убедясь, что сломить Иисуса ему не удастся, Анна отсылает его связанным к Каиафе, предпочитая уйти в тень и предоставив вынести решение своему зятю. В доме Каиафы, ночью, в ожидании членов Синедриона, Анна и Каиафа снова допросили Иисуса, и снова не добились успеха.

Каиафа был первосвященником Иудеи с 18 по 37 год. Его назначил на этот пост прокуратор Валерий Грат, предшественник Пилата, а отстранил от власти будущий император Авл Вителлий. Каиафа стал зятем первосвященника Анны (Ханнана), и послушным орудием в руках своего тестя. Каиафа вполне устраивал Понтия Пилата. В течение всех десяти лет прокуратурства Пилата был его послушной марионеткой. Есть все основания считать, что и суд Анны и Каиафы над Иисусом был инспирирован Пилатом.

Что это за основания?

Главное: Иисус был опасен для Рима. Это прекрасно осознавал Пилат, римский префект (прокуратор) Иудеи с 26 по 36 годы н. э.

Кто же он, этот Пилат?

Убежденный в том, что евреи - варвары, дикари, прокуратор Понтий Пилат прибыл в Иудею с намерением заставить евреев отказаться оттого, что он считал низменными и дикими обычаями. Он был первый из прокураторов, который посягнул на неприкосновенность еврейской религии. Он установил в Иерусалиме военные штандарты с изображениями императора, тогда как иудейский религиозный закон не терпел каких бы то ни было человеческих изображений, как

идолопоклоннических. Его предшественники такого не делали никогда.

Он не терпел ни малейших нарушений установленного им порядка и с холодной жестокостью казнил непокорных. Жизнь человеческая потеряла цену. Дороги были уставлены крестами с распятыми на них. За время римского владычества в основном - во время правления Пилата - было распято 50-100 тысяч евреев. Пилат настолько выделялся даже на фоне своего жестокого времени, что через несколько лет после казни Иисуса и после чрезвычайно жестокого подавления восстания, поднятого против Пилата самаритянами у горы Гаризим, правитель Сирии, которому был подчинён Пилат, отстранил его от должности и велел отбыть в Рим для дачи отчёта в своих действиях императору Тиберию. Император был вынужден отстранить Пилата от прокураторства за его исключительную жестокость и жадность. Филон и Иосиф Флавий подчёркивают, что иудеи у горы Гаризим восстали не против римской власти вообще, а только против жестокостей Понтия Пилата и его глумления над их святынями.

Налоговый и политический гнёт, провокационные действия Понтия Пилата, оскорблявшие религиозные верования и обычаи иудеев, вызывали массовые народные выступления, беспощадно подавлявшиеся римлянами. По словам философа Филона Александрийского, жившего в то же время, Пилат несёт ответственность за бесчисленные жестокости и казни, совершённые без всякого суда.

Римская администрация получала сведения о каждом шаге Иисуса и числила его в опасных мятежниках, тем более, что многие высказывания Иисуса выглядели как призыв не платить налоги Риму или как угроза разрушения Храма.

Популярность Иисуса росла. Ходили слухи, будто он собрал много народу и решил идти на приступ Иерусалима. Да и сам Иисус своими действиями способствовал этим слухам. Евангелия отмечают, с каким

восторгом и царскими почестями встречали Иисуса массы евреев, когда он въезжал в Иерусалим.

Например, евангелия рассказывают, как он посылает ученика *«отвязать молодого осла, на котором еще никто не сидел»*, и за неделю до Пасхи въезжает на нем в Иерусалим. (По традиции привилегия въезда в Иерусалим на необъезженном осле принадлежала только **царям**). Он въехал в город, сопровождаемый ликующими криками паломников: «Благословен грядущий царь Израилев». Его встретили царскими почестями. Перед ним расстилали пальмовые листья и одежду, славили его как сына Давида. Не случайно основной вопрос, который Пилат задал Иисусу был: *"Ты Царь Иудейский?"*, ибо притязание на власть, - в данном случае, в качестве Царя Иудейского, по римским законам, считалось опасным преступлением.

В праздники паломничества, когда в Иерусалим со всей Иудеи стекались паломники в количестве сотен тысяч, римляне всегда принимали особые меры безопасности. Но в том 33 году н.э. положение было столь взрывоопасным, что Понтий Пилат покинул свою резиденцию в Цезарее и срочно вернулся в Иерусалим. Пилат уже подавил несколько восстаний непокорных евреев, и новый мятеж ему совсем не был нужен. Мятеж нужно было предотвратить всеми возможными способами – силой и интригами.

И, прежде всего - устранить возможного возбудителя очередного бунта против Рима. Но Пилат не желал делать это явно «римскими» руками, дабы это не послужило дополнительным поводом для антиримского взрыва. Ему надо было обезвредить опасного мятежника и, в то же время, не накалять антиримские настроения сотен тысяч возбужденных паломников, собравшихся на пасху в Иерусалиме.

Следовало сделать это руками еврейских властей. Руками полностью послушных ему Каиафы и Анны -

судей и подстрекателей - которым и самим Иисус представлялся неудобным возмутителем спокойствия.

И он возложил инициативу обвинения Иисуса на своего ставленника Каиафу. Об активных действиях Пилата ещё на предсудебной стадии свидетельствует и участие в аресте Иисуса в Гефсиманском саду большого отряда римских воинов, вооруженных мечами, вместе со стражниками (храмовой полицией), вооруженных дубинками. Естественно, такая операция римского отряда не могла произойти без ведома Пилата.

И здесь подходим ко второму обвинению евреев, обвинению в том, что народ не позволил правителю Понтию Пилату помиловать Иисуса, а отдал предпочтение разбойнику Варавве.

Итак, начало второго акта спектакля: «добрый» римский прокуратор вынужден уступить настоянию первосвященника и выносит смертный приговор. Лицемерие продолжается: чтобы сгладить плохое впечатление от приговора, вынесенного римской властью, Пилат выносит на суд «народа» вопрос помилования Иисуса. Хотя знает, что помилования не будет, что первосвященники и их прислужники спровоцируют нужным образом собравшуюся толпу, большую часть которой составляла иерусалимская чернь, (*«...первосвященники и старейшины возбудили народ простить Варраву, а Иисуса погубить»*). И вынудили толпу кричать совсем уж неестественную фразу: «кровь Его на нас и на детях наших» - окончательное снимающую вину с Рима! Пилат удовлетворен, он «нехотя» подчиняется воле толпы и отправляет на Голгофу «самозванного царя Иудейского» с надписью на кресте: «Иисус Назаретянин Царь Иудеев».

И если игнорировать истинную жесточайшую суть Пилата, то рисуется умильная картина: милосердный римский прокуратор озабочен тем, как бы не наказать без вины

бродячего иудейского проповедника, и тщетно пытается убедить толпу евреев отпустить этого проповедника. Такая картина представляется совершенно несостоятельной.

И, соответственно, **несостоятельно и второе обвинение, выдвинутое против еврейского народа. Вина лежит на организаторах этой расправы, а не на народе.**

Приведенные доводы, естественно, не являются ни полными и ни единственными. Но если бы в некотором подобном виде их услышали в «Пасторских посланиях», они могли бы послужить более убедительным обоснованием признания непричастности еврейского народа к распятию Иисуса Христа, чем рассуждения о «вине части и невиновности целого». И, возможно, мысль о невиновности еврейского народа в смерти Иисуса восприняло бы большее число людей, и вражды к Народу Книги стало бы меньше.

Дождемся ли?..

Марк Гинзбург в СССР руководил разработкой государственных информационных систем. Автор около 100 научных работ и изобретений, нескольких монографий. В США преподавал в колледжах математику и иудаизм. За циклы лекций в штатах Массачусетс и Нью-Джерси отмечен премией «Корона Торы». Автор книг «До, После, Над», «Берег моря суеты», «10 лет с правом переписки», «Этический иудаизм».

Книги и статьи Марка Гинзбурга издавались в Америке, России и Германии.

Живет в Бостоне.

МИХАЭЛЬ ШЕРБ

Золотая рыбка

Там деревянные карнизы,
И пахнет клеем переплёт,
И цинковое солнце Ниццы
Кошачьи погребца печёт,
И ветер дышит горячо
На обгоревшее плечо.

Там выцветает небосвод
Под пленкой гляцевых открыток,
И набухает вонью рынок, –
На снулой рыбе тает лёд.
И тротуар покрыт мазками,
Когда чернильными плевками
Шелковица на пыль плюёт.

И самый длинный летний день
Сгорает быстро, словно спичка.
Тебя здесь нет, но по привычке
Смотрю в аквариум окна, –
Там люстры золотая рыбка,
Но лампа в ней всего одна
Горит, – так пасмурно, так зыбко,
Что тень на белом потолке
Дрожит, как мир дрожит сквозь слёзы.

И парки вышивают звезды
На погребальном полотне.

Крошка

Когда едва-едва заметная
В углу немытого окошка,
На ситце неба предрассветная
Звезда застрянет хлебной крошкой, –

Забудешь огоньки да свечечки,
И полночи густую ваксу, –
Возьмешь весну в ладонь, как птенчика,
Чтоб согреть и согреться.

Из нежной кожицы шагреновой
Нарежешь вечеров лоскутья,
Сгустится ватный дым сиреневый
Ограды черные укутав.

И снова будет за посёлками
И глыбами многоэтажными
Бежать черёмуха весёлая,
Махать платочками бумажными.

Железнодорожный уют

Дневной фонарь унылым лучиком
Сквозь морось заглянуть пытается:
Как там, за каменными тучами,
Пшеница солнца пропекается?

В вагон протиснувшись оравую,
Стоим, что томики на полочке.
Под колесом железо ржавое
Звенит ранением осколочным.

Не мощь холмов, не рощи женственность, –
Стрела шоссе, оврагов выверты,
И мачты новые, саженные...
На полустанках окна выбиты.

Для взглядов близкими мишенями
Дрожат панели светлокожие.
Смесь неприютности движенья и
Уюта железнодорожного.

Частица

Мне снится, словно я уже не я.
Там, под землей (мне это только снится!),
Система кровеносная моя
Теперь багровой разрослась грибницей.

Я жив, но протекает сквозь меня
Чужая жизнь, и никуда не деться
От ярого напора бытия,
Теперь моё над садом бьется сердце.

В солоноватых солнечных лучах
Всё – щебет, треск, чириканье и клёкот
В кленовой кроне гладкой, краснощёкой.
Там воробьи, скворцы, дрозды, синицы,
Стрекочут, сыплют, цокают, кричат:
Зарю встречает суетная рать,
Подрагивают ветви, как ресницы.
О, ветер в лёгких – и легко дышать!

Я жив, пока проходит сквозь меня
Чужая жизнь, теперь я только дверца,
И бьется над растущим садом сердце.
По пальцам – по ветвям –
Струится свет,
(И от него листвой не заслониться),
И капля каждая, и каждая частица
Насквозь пронзая, оставляет след.

Пробуждение

Я проснулся однажды – и мир оказался нов,
Я запел от тоски – по постели рассыпались ягоды,
Перламутровой радугой кратких рассветных снов
Облака опускались на землю, сгущались в пагоды.

Там, в кленовом садке, в молчаливом рассаднике рыб,
На последний этаж тишина поднималась в лифте.
Там прочитаны вслух вертикальные строчки коры,
И изучены алые маки, забытые в бисерном шрифте.

Осыпались на город бескровные искры зарниц,
Остывающий воздух покалывал в подреберье.
Я учился проращивать черные зёрна птиц,
И они прорастали, потом распускали перья...

За спиною деревья вставали прозрачной стеной,
Прикрывали ранимые кроны блестящей клеёнкой.
И смотрели в просвет, как задумчивый дождь ледяной
Проявляет булыжников медленную фотопленку.

Не напрасно боролся с ветром упорный дым:
Становились всё тоньше пластины небесной стали.
И кудрявые волны, щенки питьевой воды,
Прибегали ко мне, и друг с дружкой у ног играли.

Михаэль Шерб родился в 1972 году в Одессе. Закончил Одесский университет (теоретическая физика). С 1994 года живет в Германии, в Дортмунде. Закончил Дортмундский университет (прикладная информатика), работает разработчиком программного обеспечения. Шерб - обладатель главного приза Пятого Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира» (2013, номинации поэтов-эмигрантов). Публиковался в журналах «Крещатик», «Интерпоэзия», «Эмигрантская лира», «Интеллигент». Автор книги стихотворений «Река» (2012). Участник антологии «НАШКРЫМ», выпущенной в американском издательстве KRiK Publishing House (2014).

ФЕЛИКС РЕЙНШТЕЙН

БЕГУЩИХ ДНЕЙ НЕПОВТОРИМОСТЬ

Наша самобытность

Жизнь гудит напряжённо
Упругая и весома,
Но в мире огромном,
Словно бездомный,
Порою стою ошарашенный,
Застигнутый врасплох, удивлённый:
Весь мир – какой-то покрашенный,
Напудренный и самовлюблённый.

Круг, треугольник, линия –
Все какие-то синие,
По лицам плывёт туман.
Обман, обман, обман!

Синее, серое, бледное,
Как будто бы невесомое,
Расплывчатое, бесследное
Привычно выдают за искомое.

Дешёвые подделки,
Дешёвая помада.
Ну а вам дешёвку
По дешёвке надо?

Улыбка – по заказу,
По заказу – смех,
Также по заказу –
Первородный грех.

Самобытность наша
Вся – впотьмах,

Возле модной Машки –
Модный страх...

Посмотри на звёзды,
На ковёр Луны.
Звёзды – словно слёзы,
А ковёр – как сны,
Голубь, птица райская, –
Божество,
Но под гитару пляска и
Торжество.
Рядом со мною – пьяные вдрызг...
Ругань. Треск. Свист. Визг.

Звенят аккорды...
Рраз – по морде!
Рраз – в глаз!
Экстаз!

Наша сытость –
Наша самобытность?
Бьют по роже –
Может быть, то же?..

В клочки изорви
 обыденность буден,
Чтоб не были дни,
 как слизистый студень,
Чтоб тенью бежала
 праздность,
 устав,
Из наших мыслей,
 дел
 и забав!

Нежданные причуды

Причуды солнечного дня –
Совсем нежданные причуды:
Заискрились полутона
Поставленной на стол посуды,

Зажглись лукавинки в глазах
Твоих, отмеченных печалью,
И стихострочки на листках
Быть в неподвижности устали.

Их больше, больше. Я пишу,
Ловя твой взор чуть отстранённый,
Его запечатлеть спешу
В своих стихах новорождённых.

О чём поведать могут взгляд,
Тревожный трепет пробужденья?..
Не о былом ли разобщеньи
Двух душ?.. Всё как-то невпопад –

Признанья, встречи и прощанья,
Желанные воспоминанья
И обещанья, заклинанья
Любить, разлукой испытанье...

Нам говорят: надейся, верь,
Люби – и лучшее настанет.
Но где сыскать нам в счастье дверь?
Кто нам подскажет, не обманет?

Где ключ от этой двери, где,
Кто главный ключник на планете?..
Досадно: на вопрос нигде
Не можем получить ответа...

Вдвоём с тобою мы пьём чай
Из чашек, солнцем осенённых, —
И глаз твоих замороженных
Тускнеет прежняя печаль.

Рашель

Я наяву, а не в кино
Случайно расплескал вино,
Когда, круша словесный пыл
Гостей, свой тост произносил:
«За всех сидящих за столом», —
Хоть не со всеми был знаком.

На белой скатерти пятно
Широколапое алело.
Оно казалось мне страной
На карте, лампочкой борделя.

На блюде рядом – рыба пасть
Раскрытая. Что за напасть?
В мои осенние года
Я стал пунцовым от стыда
И, не оглядываясь, сел,
Но вдруг услышал: «Я – Рашель.

А вас, простите, как зовут?»
Ответил в шутку я, что Брутом
Меня зовут среди этих блюд,
Кому-то стал я Робин Гудом.

Пока я так шутил, она
Мне улыбалась, как весна,
Салфеткой белою пятно
Прикрыв, чтоб я своей виной
Не мучился и рад был ей

Среди подвыпивших гостей.

Признателен тебе, Рашель:
Мою стыдливость защитила.
Когда стыда маячит мель,
Я вспомню о Рашели милой.

Мне женщинам, кто спас меня
Хотя б от одного стыдочка,
Не жаль душевного огня
Почтить их стихотворной строчкой.

Пчела

Устало бьётся о стекло пчела,
К цветам и солнцу выбраться стремится.
Хотя светло, но всё же как в темнице:
Нет даже щели, где стекла граница,
А за окном – цветущий сад, поля.

Неужто больше солнечным теплом
Не восторгаться?.. Из глубины цветка
Не пить нектар и никогда в родимый дом
Не возвращаться?.. Ужели смерть близка?..

Цветы пришли бы ей на помощь,
Когда бы дар передвигаться
Был дан им; их в неё влюблённость
Мила... Сейчас до их ли глянца?..

И Солнце – друг. Стекло расплавить
Готово, если бы не знало:
Сожжёт её тогда... И травы
Склонились перед ней печально.

А человек?.. Ох, люди, люди!..

Когда б прочувствовать могли
Друзей предсмертные минуты,
Друзей бы, верно, берегли.

... Я слышу, пчёлка, голос твой;
Спешу к тебе, с тобою – в сад.
Цветы, трава со мною в лад
Шепнули ей: «Лети домой».

Всё иначе

Для чего ты говоришь, что любила?
Много времени прошло. Иль забыла?
Всё, чем жили мы с тобой, отлетело.
Иль до этого тебе нету дела?

Снова хочешь ласк моих и признаний,
Веришь, что любовь к тебе постоянна,
Что затмила разум мой и теперь вновь
Очарован лишь тобой непомерно.

Говоришь, любила и снова любишь.
Но второй уж раз меня не погубишь.
Не прильну к твоим рукам на коленях,
Сердце обнажить не дам на сожженье.

Вкус моих не ощутишь губ горячих:
Прошрое не воскресишь, всё иначе.
И зачем ты говоришь, что любила?
Много времени прошло. Иль забыла?..

Наши судьбы — два пути разобщённых, —
Словно мчат нас поездные вагоны,
Встречно движемся в мирах параллельных,
Повидались мы неожиданно, бесцельно.

Феликс Рейнштейн родился в Ленинграде. Кандидат технических наук. Автор 9-ти книг стихов и прозы, публикаций в различных журналах, альманахах, сборниках, а также в международных антологиях – в том числе «The Best Poems and Poets of 2003», «The Best Poems and Poets of 2004», «The Best Poems and Poets of 2005», «The International Who's Who in Poetry» (2003), «Best Poets of 2010», «Best Poets of 2011», «Best Poets of 2012», «Great Poets Across America» (2012), «Who's Who in American Poetry» (2013). Награждён Почётными Грамотами Клуба поэтов Нью-Йорка (2004) и Международной Библиотеки поэзии (2006, 2007) Международного Пушкинского конкурса поэзии (1997), медальоном и денежной премией издательства Eber & Wein (2010) за второе место в международном конкурсе поэтов. Живет в Нью-Йорке.

ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН

СВЕТ ИЗДАЛЕКА

Лето девяностого года в Литве странно соединило надежды разных людей. Все так мечтали о победе... Но при этом одни думали о том, как навсегда вырваться из «братских» объятий Москвы. Другие же хотели побыстрее вернуться в прошлое – отомстив тем, кто в марте провозгласил литовскую независимость.

Где пролегал водораздел между этими надеждами? Во всяком случае, он определялся не национальностью человека, как могло показаться на поверхностный взгляд.

– ...Мы их утопим в крови... – словно в чем-то сокровенном, признавался мне в те дни сосед, старый литовский коммунист. И он знал о чем говорил: лучшими годами его жизни были послевоенные – тогда он отлавливал «лесных братьев».

Надежды людей были так очевидны и сильны, что жизнь, не связанная с этими мечтами, точно застыла. Или шла по инерции. Все вокруг казалось пронизанным мрачным, тягостным ожиданием.

Впрочем, как всегда в переломные эпохи, действительность была фантазмагорична. В это же самое время в нескольких комнатах вильнюсской киностудии (фильмы, естественно, выходить уже перестали) расположился Еврейский музей Литвы. Его создавали в конце войны бывшие партизаны и узники гетто. Его ликвидировали в 49-м, борясь с «безродными космополитами». Его восстановили теперь, в раннюю пору литовского национального «возрождения».

Почти все сотрудники музея еще продолжали работать днем в других местах. Встречались вечерами. И – тоже мечтали. Никого не удивляли самые смелые проекты, кажется, пришедшие к взрослым людям из детских снов.

В один из тех летних вечеров я познакомился в музее с необычным человеком. Случайно ли то, что многое в нем показалось мне загадочным, двойственным? Как мир вокруг.

Сергей Корабликов был вильнюсским врачом, но работал в Индии (как раз приехал домой в отпуск), а вскоре собирался репатриироваться в Израиль. Еще недавно его считали русским, но теперь, сказал Корабликов с гордостью, в паспорте появилась новая запись: еврей.

С. К. подарил музею картину. Этой работе художницы Ноны Завадскене была уготована своеобразная миссия:

– ...Да, портрет моей мамы. Долгие годы она была подпольщицей, потом, во время войны, – партизанкой. Неизвестно, как она погибла. У нее нет могилы. Вот и хочу, чтобы местом, где будет жить память о маме, стал этот музей... Пусть здесь хранится мамин портрет, именно здесь – в ауре страшной еврейской Катастрофы.

Как и все в Литве в те годы, я не знал будущего, но хотел понять прошлое. Был конец июля. Несколько раз мы встречались с С. К. у него дома. Свою исповедь, которая потом почти шестнадцать лет одиноко жила в моей тетради, он начал вопросом:

– Вы, наверное, знаете этот дом на улице Пилимо? Как раз напротив сейчас находится Военторг. Вот там я и родился в декабре сорок второго. Это то, в чем я уверен совершенно определенно. Еще знаю: моей матерью была Бася Коварская, а отцом – Макар Корабликов.

– ...Да, вы правильно вспомнили – весь этот район тогда входил в гетто.

– ...Существует несколько версий истории моего рождения, а также истории моего спасения из гетто... Конечно, конечно – я расскажу об этом. Но сначала – о моих родителях.

– ...Мой отец, Макар Клементьевич, происходил из семьи староверов. В годы войны он был членом подпольного горкома партии. Моя мама родилась в 1915-м.

Комсомолка, потом коммунистка, сидела в довоенной Литве в тюрьме. Кто-то рассказал: по специальности она была медицинской сестрой. Правда, я видел другое свидетельство: мама окончила курсы бухгалтеров. Еще она служила воспитательницей в семьях богатых евреев.

– ...Как они познакомились друг с другом, мои родители? Сюжет этот странен и удивителен – даже для военного времени.

– ...В юности у мамы была подруга по имени Блюма. Именно она стала (еще до войны) женой Макара Корабликова. У них родился сын. Почему Блюма, в числе семей других партработников, не попала в эвакуацию? Это долгая история. Сейчас речь не о том.

– ...Итак, в начале войны Блюма пряталась с ребенком в доме своей свекрови, на окраине Вильнюса. Однажды – это было в конце 41-го – она стояла у окна. И увидела, как куда-то гнали большую группу евреев. Заметила в этой группе своих родных. Поняла: их отправляют на расстрел, в Понары.

– ...Что она сделала? Блюма особенно не задумывалась: она оставила сына в комнате, а сама спустилась вниз, встала рядом с родителями. И – как другие евреи в той колонне – погибла в Понарах.

– ...Что было делать с ребенком? За ним стали ухаживать бабушка и тетя. Иногда приходила понынчить малыша подруга Блюмы – Бася. Моя мама. Она тоже скрывалась тогда в городе.

– ...Их роман с отцом развивался стремительно. Мой брат Илья – сын отца и Блюмы – только на полтора года старше меня.

– ...Потом маме все-таки пришлось уйти в гетто. Прикрепив к одежде звезду Давида, туда постоянно проникал и отец – по делам подполья.

– ...Как же меня вынесли из гетто? Это тоже по-своему необыкновенный сюжет! Сестра отца Фетиния Клементьевна Корабликова-Черницова выносила меня из гетто в обыкновенной корзине! Говорили, что в той самой корзине меня спустили на веревке из окна многоэтажного дома.

– ...Представьте себе, я долго думал, что эта замечательная женщина и была моей матерью. Тогда, во время войны, она умело имитировала все признаки беременности. А потом официально зарегистрировала меня как своего сына. До 53-го, пока не умерла Фетиния Корабликова, я и не знал, что у меня была другая мама.

– ...Не раз я пытался оживить для себя биографию Баси Коварской. И – прежде всего – историю ее смерти.

Скажу сейчас коротко: мой отец сумел вывести маму из гетто. Потом она ушла в партизаны... Был такой момент, когда отряд разделился на две группы. Одна – там была и моя мама – уходя с боями от фашистов, попала в болото... Мама погибла где-то возле Нарочи.

– ...Во время войны я потерял и отца. Меня и старшего брата (между прочим, его фамилия по матери – Троицкий) воспитывали – в трудностях и мытарствах – тетя Фетиния и бабушка Евдокия Харлампиевна. Женщины с сильным характером.

– ...Да, от бабушки я и услышал впервые историю о том, как меня несли из гетто в корзине. Кто знает, может быть, было все несколько иначе. Хотя ту же версию подтвердила подруга Фетинии – полька Мария Шаткевич. Будто бы именно она несла меня вместе с тетей в той самой корзине... По иронии судьбы, я так любил в детстве народную песню: "По веревочке в окно".

– ...Не знаю, по каким уж причинам, но о моем отце, герое-подпольщике, вспоминали после войны не слишком охотно. Вроде бы никто и не отрицал его заслуг, но и льгот в связи с этим нашей семье никаких не было. Все же один из друзей отца, занимавший высокий пост в

послевоенной Литве, помог поступить мне в суворовское училище.

– ...Тяжкие для меня годы. Все во мне сопротивлялось армейскому режиму! Училище находилось в Туле. Мне было там одиноко. Я совсем не походил на других воспитанников... Уходил от всех. Писал стихи. Пытался даже выйти из комсомола, ощутив фальшь и бесполезность этой организации. Между прочим, та история мне на многое открыла глаза. Однажды на собрании, будучи заместителем комсорга роты, я положил на стол свой комсомольский билет. Какая была реакция? Меня объявили больным, поместили на две недели в психиатрическую клинику. И, конечно, то уговаривали, то заставляли – взять билет назад. Я сдался не сразу. После того, как на несколько дней меня перевели в палату для буйных больных. Там я увидел взрослого человека, на которого тоже давили – преступно и безжалостно. Я понял: передо мной – страшная машина. И сделал то, чего от меня хотели. Сделал вид: ничего не было.

– ...Собственно, еще в раннем детстве я слышал еврейский язык, слышал разговоры о евреях. Прежде всего потому, что к нам, в дом к бабушке, приходили мои еврейские дяди – братья матери, спасшиеся в начале войны.

– ...Потом, позже, бабушка рассказывала мне о маме. А ее братья даже показали мамины фотографии. Бабушка была мудрым человеком. Она, староверка, считала: я должен знать правду о своем происхождении. И более того – эту правду нужно зафиксировать документально. В пятидесятые годы, когда умерла тетя, моя приемная мать, бабушка нашла свидетелей, которые рассказали в суде обо всем. Об обстоятельствах моего рождения, спасения из гетто. О том, почему тетя вынуждена была записать меня своим сыном. Именно на основании тех

свидетельств мне недавно сменили паспорт. Да, теперь там есть эти пять букв: еврей.

– ... Я постоянно думал тогда о своем еврействе. Кстати, понимал: если не буду скрывать, кто была моя мать, это может мне сильно повредить. И одновременно – я не хотел скрывать этого... Иногда шел на компромисс: писал в анкетах, что у меня было две матери – родная и неродная. Но в отделах кадров те анкеты упорно не принимали – возвращали мне назад.

– ...И часто пытался представить гетто. Вильнюсское гетто, где погибли маминь родные и где я родился. Учась в суворовском училище, с жадным интересом посмотрел два фильма о гетто. Помню их до сих пор: "Звезды" и "Девятый круг". Я ощущал – бесспорно, остро: все это непосредственно относится ко мне.

– ...Кончилось детство. Тоскливо пришла юность. Я решил стать врачом. Сначала учился в военно-медицинской академии. Потом неприязнь к армии победила – перешел на дневное отделение в Ленинградский педиатрический медицинский институт. Вечерами и ночами работал санитаром. И опять чувствовал себя чужим, посторонним в этом мире.

– ...Между прочим, я работал в клинике, где было много детей, от которых отказались родители. Беда, одиночество, бесприютность... В стенах клиники эти понятия не были абстрактными... Там я познакомился с красивой девушкой-санитаркой. Ее звали Людмилой. Она тоже была студенткой – как и я, подрабатывала, чтобы выжить. Почему однажды я предложил ей пожениться? Наверное, для того, чтобы преодолеть свое собственное одиночество. Она очень удивилась. Но неожиданно, через день, дала согласие. Это было в 66-м. Ни мои, ни ее родственники не хотели нашего брака. А руководство клиники устроило нам пышную свадьбу с коньяком. Сейчас трудно представить, как мы были бедны. Помню,

чернокожий приятель, с которым я играл в бадмингтон, одолжил мне сто рублей на свадебный костюм.

– ...Окончив в Ленинграде три с половиной курса, я переехал вместе с женой в Литву. Поначалу жили у дяди. В 70-м получил диплом медицинского факультета Вильнюсского университета.

– ...Я специализировался в области кардиологии. И эта тема захватила меня. Написал даже кандидатскую диссертацию, уже прошла ее защита... Со мной поступили подло, не стоит рассказывать эту историю подробно. Обида застилала мне глаза. Положил диссертацию в дальний ящик стола. Пошел в Министерство здравоохранения: нельзя ли поехать работать за границу? Это было уже в 88-м. После специальной ординатуры меня послали в Уганду. Однако там началась война. Я продолжал работать в Вильнюсе, заместителем главного врача. Через год все же попал в Южный Йемен...

– ...Примечательно: я всегда ощущал себя и русским, и евреем – одновременно. Но русской своей "части" я отдал большую половину жизни, теперь вот испытываю угрызения совести: я ведь сын своей матери.

– ...Помню, приехал в Израиль в гости. И почувствовал вдруг: народ Израиля – мой народ. Однажды, в День поминовения, ко мне неожиданно подошли незнакомые люди. Что разглядели они в моем лице? Но я услышал: "Это же сын Баси!"

– ...Представьте себе: нашел там двадцать человек, которые хорошо помнят маму. Я увидел фотографии своих бабушки и дедушки. Эти снимки были сделаны еще в довоенной Литве. Лица, глаза на фотографиях спокойны – люди не знают, что им предстоит.

– ...Да, я решил уехать в Израиль... И лишь одно не перестает мучить меня. Существует ли могила мамы?

– ... Вновь и вновь задавал себе этот вопрос, пока, наконец, неожиданная мысль не родилась где-то внутри

меня. Я взял одну из фотографий мамы и пошел к художнице Ноне Завадскене. Я попросил ее сделать мамин портрет. Я рассказал Ноне все, что узнал в эти годы о юной Басе, ее жизни, смерти, любви. О своих мучительных поисках – мамы, себя.

– ...Мне очень нравится портрет, который написала Нона. Вы ведь знаете, я подарил его Еврейскому музею Литвы. Может быть, сюда я и буду потом приезжать? Пусть не на мамину могилу – к ее портрету.

Тетрадь, куда я записал рассказ С. К., давно пожелтела, истерлась. Хорошо, хоть не пропала при переездах.

Конечно, все эти годы я помнил о нем. Все эти годы, вобравшие в себя его и мою эмиграции. Не раз спрашивал знакомых израильтян: не встречали ли они врача Сергея Корабликова? Где он?

Увы, никто ничего толком не знал.

Я услышал о С. К. внезапно.

В середине января иерусалимский книговед и издатель Леонид Юниверг рассказывал мне по телефону о своих, как всегда уникальных, проектах. Вдруг припомнил:

– ...Выпустили мы и сборник стихов, который вас наверняка заинтересует. Автора когда-то вынесли из Вильнюсского гетто в обычной корзине.

Я не сдержался, воскликнул:

– Вот он и объявился, Сергей Корабликов!

Наша беседа с С. К. в третьем тысячелетии опять была долгой. Но ничего неожиданного для себя я не услышал.

Здесь мне, наверное, надо объяснить читателю эту свою реакцию. Я наблюдал в эмиграции множество сломанных судеб. Трагических, однако типичных. Если начинаешь в пятьдесят, неудача вовсе не исключение из

правила, скорее – закономерность. Но я почему-то верил: новая жизнь С. К. обязательно будет счастливой. Так и оказалось.

Когда я познакомился с С. К., меня привлекли не столько «детективные» обстоятельства его появления на свет и последующего спасения, сколько ситуация выбора: это и была главная реальность, в которой С. К. жил долгие годы. Вот с чем прежде всего были связаны его метания, двойственность, своеобразная «текучесть» сознания.

Если воспользоваться термином иудаизма, С. К. был типичным «украденным ребенком» – воспитывался и рос в отрыве от национальных традиций. Его душа требовала «возвращения». И оно произошло – тем летом девяностого, когда вся Литва тоже совершала свой выбор. Ну, а остальное – было ли таким уж трудным?
– Первое время в Израиле, – рассказывал С. К., – я сам себе казался Мартином Иденом: работал по двое суток, спал один раз в три дня. Целый год вкалывал на стройке. Когда получил разрешение заняться врачебной практикой, нисколько не сомневался: не стоит искать место в госпиталях Иерусалима или Тель-Авива. Лучшие сразу отправиться в глубинку. Так я попал в Тверию... Конечно, моя жизнь и сейчас остается тяжелой (врач реанимационного отделения, изматывающие дежурства, экстремальные ситуации, по-прежнему – «вгрызание» в иврит). Но все это гораздо легче, чем лабиринт сомнений. И главное: трудности не затмили того, ради чего я приехал в Израиль. Здесь уже отслужили в армии два моих сына. И растут внуки, для которых Израиль – родина.

Я многое понял в жизни С. К., когда получил от него по почте тоненькую, изящно изданную книгу – «Белые птицы».

Сразу бросилось в глаза имя автора на обложке: Сергей Корабликов-Коварский. («Это было очень важно

для меня – наконец-то присоединить фамилию мамы к своей. Это был еще один шаг...»)

Он всегда писал стихи в трудные, «переломные», по выражению самого С. К., моменты жизни.

В стихах он мог, например, мысленно обратиться к отцу:

*Мой юноша милый, немножко наивный,
Впечатанный в плоскость стены,
Мы больше не веруем в гимны
Нас всех обманувшей страны!*

Здесь, в стихах, написанных еще в 1970-м, не таяли воспоминания:

*Я – немой, я едва прозревший
В закутке у чердачных дверей...*

Здесь (уже в 2005-м) автор подводил самые первые итоги пути:

*Вот и прожита жизнь –
А могло бы не быть
Этих сосен, и неба, и моря!*

Осмысляя судьбу своих уничтоженных предков, литваков, автор пытался понять: может быть, совсем не случайно то, что ему – подобно библейскому персонажу – было даровано чудесное спасение?

*...Я от бывшего леса –
Одинокий невыжженный куст,
Опаленный,
И тем удивленный,
Что выжил...*

Стихотворный сборник С. К. был одновременно его семейным альбомом: редкий портрет отца, множество фотографий мамы, ее родственников и друзей... И, конечно, смотрели на нас «святые лица»: Фетиния и Евдокия Корабликовы. («В Литве их посмертно наградили крестом «За спасение погибающих», в Израиле удостоили звания «Праведник среди народов мира»»).

Отрываясь от чтения стихов С. К., я долго гляделся и в другие иллюстрации, помещенные в книге, – фотографии улочек, дворов бывшего гетто.

...Я пришел сюда июльской ночью 90-го, после нашей беседы с С. К. К моему удивлению, в нескольких окнах *того самого* дома горел свет. Почему меня вдруг охватила тревога? Я задумался, вспомнил разговор с С. К. и спросил себя: неужели это страх перед будущим?

Я снова стал смотреть на освещенные окна. Казалось: они что-то помнят, знают. И – спорят со мной.

1990-2006

Евсей Цейтлин – прозаик, культуролог, литературовед, критик.

Автор многих книг, которые издавались в России, США, Литве, Германии: «Одинокие среди идущих» (2013), «Снег в субботу» (2012), «Послевкусие сна» (2012), «Шаги спящих» (2011), «Несколько минут после. Книга встреч» (2011; 2012), «Откуда и куда» (2010), «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» (1996; 1997 – на литов.; 2000 – на немец.; 2001; 2009; 2010; 2012), «Писатель в провинции» (1990), «Голос и эхо» (1989; 2011), «На пути к человеку» (1986), «О том, что остается» (1985), «Долгое эхо» (1985; 1989 – на литов.), «Свет не гаснет» (1984), «Жить и верить...» (1983) и др.

Составил четыре сборника прозы русских и зарубежных писателей. Начиная с 1968 г., публиковался во многих литературно-художественных журналах и сборниках.

Член редколлегии журналов «Мосты» (Германия), «Слово-Word» (США). Был главным редактором альманаха «Еврейский музей» (Вильнюс). Редактор ежемесячника «Шалом» (Чикаго – с марта 1997).

ЗОЯ МЕЖИРОВА

МЕЖДУ СКАЛАМИ И ПРИЛИВОМ

О книге стихотворений Юджина СОЛОВЬЕВА
«Как поместить пейзаж в раму»

Poems by Eugene Solovyov

«How to Frame a Landscape»

PetroglyphPress

Sitka, Alaska, USA 2014

Проходят дни с их делами и заботами, а я всё там, в незнакомом мне пространстве, у воды. И легкая фигурка пловца в ластах, скафандре и с аквалангом – стремительно проскальзывает мимо, шуршавлажной пребрежной галькой. Я – в стихотворении Юджина Соловьева, воздух которого, нахлынув, уже долгое время не отпускает...

Как создается это пространство, которое сильнее, острее реальности? На это никогда не будет ответа.

Какими усилиями оно возникает – навсегда? Об этой тайне стоит задуматься. Но разложима ли тайна на составные? Ведь она неприкосновенна. И все-таки хочется попытаться хоть немного ее объяснить, заглянуть в ее сущность.

Лирическая непосредственность, такое редкое вообще для современной поэзии качество, – одна из главных составляющих. Чем она выражена? Как всегда – Звуком. Непосильная Мечта – перевести звуки строк на любой другой язык. Так же как и их ритм, – мягкими толчками наплывающий, тревожащий. Они бесповоротно остаются в языке оригинала, верны только ему. И состояние, настроение, охватывающее читателя – тоже передается через звуки мелодии строк. И, кажется, исчезают слова – и перед глазами легкая фигурка в

скафандре, ластах и с аквалангом на пустом берегу у скал, и никто не убедит в том, что это не так.

Стремительный как дротик, мечущийся между скал и приливом.

Мои морские доспехи всегда со мной.

Их верным щитом ограждается плоть

От ненасытных птиц и людей.

Проскользнувший мимо меня – влюблен. Он сам говорит в стихотворении об этом, молит Создателя, стоя на дрожащих коленях, об ангеле своей любви. Просит быть превращенным в медузу – прозрачную, мягкую, студенистую, ведь это реальное воплощение его состояния. Вот тогда он будет бесконечно счастлив. Сейчас он, как краб, под плотной коркой оболочки, но, чтобы раствориться и полностью жить в своем чувстве, она ему не нужна. Но он и не знает, что молит и о том, чтобы ниспослана была ему через это и внутренняя свобода, которой нет под оболочкой, та чуткость реакций прозрачной медузы, которая позволит выразить и этот день и час, и свою мечту.

Между скалами инеспешным приливом мечется легкая фигурка пловца. Скалы – опора, прилив – изменяющаяся стихия, между двух этих основ и – творчество.

Стихотворение «Crustacean Blues» («Блюз в скафандре»), о котором идет речь, в полной мере выражает строй души Юджина Соловьева. Хрупкую, порой растерянную беззащитность ее, и упорство и силу.

Был я счастливым,

бесстрашным и гордым собой,

но все это до того,

как вдруг полюбил.

Теперь мое сердце истощено.

Может быть я кажусь еще лютым,

*но под жестким ужасным покровом
я мягок, я нежен.*

*Неужели теперь обречен
метаться на этом скалистом пустом берегу...**

Мне слышится отзвук «Аттиса» Катулла в открытости интонаций отчаяния. Но есть здесь и упоение сладостью страданий, которые для поэта не существуют без вдохновения. И поэтому, глубокопогружаясь в него, Ю.Соловьев всплывает из этого потока, освеженный блаженством возникновения стихотворения.

Лирическая непосредственность, полная распахнутость души пронизывают тонкие описания жизненных ситуаций –ведут мелодии ностальгическое «Thespaceswelivein» («Пространство нашей жизни») и совершенно упоительное, завораживающее «Totem Park, Sitka», где внимание к деталям и раздумья о мироустройстве в целом сквозят сквозь пронзительно выраженную атмосферу таинственным образом возникающего сумеречного дождливого вечера, печали, запахов земли и деревьев маленького уютного вечернего городка с его кафе, барами и церквями, на фоне которых длится разлом расставанья.

*Тотем Парк. Еще одним сентябрьским дождливым
днем меньше.*

Пожалуй, я пройду с тобой...

*Капли дождя наклонны от легкого ветра,
Но все ж тяжелы в скопленях листвы, срываясь с небес.
Белки шишками нас бомбардируют с хвойных вершин.
Вязкий, темный и влажный путь, чуть пахнувший рыбой.*

Маленький город стал в этот час еще меньше,

*в себя заключен, в глубину свою заточен.
Как уютны в огнях – кофейни, и бары и церкви.
В этот миг еще нерешительней мысль
Расстаться с тобой.*

Характер поэзии Юджина Соловьева таков, что его отношения с природой особые, чувства ею обострены, приникая к ней всем существом, он проникает в ее мир, оголенным нервом строк ощущая, что ароматы цветов *тревожат* *трогают* воздух в страстном желании, ранние мартовские крокусы и нарцисы *вспыхивают* в снегу, солнце *обрушивается* сквозь сугробы, и что не только лекарства, но и болезни и горечь печали *имеют свой запах*, а деревья в замечательном стихотворении «The day you left» («День, когда ты ушла») *«как-то не так как всегда поддерживают небо»* и птицы, *«спотыкаясь в небе, наталкиваются на ветви деревьев и на облака, которые все в синяках и в тревоге»*.

Одно из стихотворений книги посвящено родителям Юджина – известным русскоязычным нью-йоркским писателям Владимиру Соловьеву и Елене Клепиковой, это вкратце как бы суть истории их жизни, изложенная сыном с неподдельной нежностью и любовью.

Чуткое сердце, пропускающее сквозь себя красоту мира и его боль. И отдающее очищенный их свет. Однажды Юджин произнес, что написанные им стихи – никогда не были в его владении. Отпустить, отдать, освободиться. От этого внутренне опустеть. И снова наполниться болью и красотой, поместив в новое обрамление стиха все, что томит и восхищает. Ведь и книга им названа «Как поместить пейзаж в раму». В ней – его собственное пространство, существующее по законам выстраданных мелодий и ритмов создаваемой им живой трепетной духовной материи.

* Здесь и далее переводы автора эссе с английского языка на русский.

***Зоя Межирова** – поэт, эссеист, историк-искусствовед, журналист, дочь поэта Александра Межирова.*

Член Союза писателей с 1985 года. Автор трех поэтических сборников (две первые книги и целый ряд публикаций вышли под литературным псевдонимом — Зоя Велихова). Стихи и эссе публиковались в центральных московских и американских журналах и газетах. Живет в Москве и в штате Вашингтон (США).

***Юджин (Евгений) Соловьев** – американский поэт, эссеист, художник, арт-дилер. Родился в 1964 году в Ленинграде, родители – писатели Владимир Соловьев и Елена Клепикова. Живет в Ситке, бывшей столице русской Аляски, где у него галерея живописи и скульптуры. Печатается в престижных журналах Америки.*

В прошлом году у Юджина Соловьева вышел сборник стихов «How to Frame a Landscape».

ЛЕОНИД СТОНОВ

**ОКОЛО СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ –
ВЗГЛЯД СО ДВОРА**

Рецензия-воспоминание

С детства, наверное, под влиянием родителей, я не любил общаться с людьми *около искусства*, почти всегда они фальшивы, и их мнения часто формируются из сплетен и банальщины. Мне были неприятны многие жены и дети писателей, которые отличались чванливостью и заносчивостью. Родители обсуждали слова Нины Гусевой, что она не может видеть норковое манто на плечах соседки и подумывает об обмене жилья. Я старался не посещать утренники в старом здании ЦДЛ на Поварской (бывшая масонская ложа).

Но когда я узнал что одна из Никулок (так во дворе ласково называли близнецов Олю и Сашу, детей писателя Льва Никулина и актрисы Малого Театра Екатерины Рогожиной) написала книгу «Даврушинский 17, Семейная хроника писательского дома» (Ольга Никулина, издательство «Новая элита», Москва, 2013), то заказал эту книгу, поскольку прожил в том же подъезде того же дома в квартире № 21 более 55 лет. Известие о выходе в свет первой книги о Доме Писателей в Лаврушинском переулке всколыхнуло бурю чувств и воспоминаний, в основном, горестных, о которых не принято было говорить и которые надо было скрывать от соседей, знакомых и даже родственников. Поэтому я с опаской открыл эту книгу, боясь не увидеть в ней правды.

Однако по мере чтения, особенно повторного, я все более убеждался в честности автора и ее желании

показать атмосферу вокруг и внутри этого сталинского подарка –инженерам человеческих душ”. Подкупает исключительная доброжелательность автора - ни о ком не сказано плохого слова. Автор стремилась показать страну, какой ее видели не только писатели, но даже домработницы (бежавшие из голодных деревень молодые колхозницы). Иногда - через коллючие замечания ребят из ближайших старых домов, порой через бесконечные застолья с продуктами из лимитных магазинов. куда прикрепляли начальствующих писателей. Помню, как удивилась Рая Кирсанова, узнав, что у нас нет лимитных (фактически безлимитных) карточек (книжек).

Мой отец (Дмитрий Миронович Стонов) точно знал, что Дом полон стукачей, о чем он сказал студенту Володе Магазинеру, познакомившись с ним в камере на Лубянке в 1949 году. Отец не рассчитывал выжить в советских тюрьмах и лагерях. Но Володе было всего лет 25, и он теоретически мог выжить. Отец проинструктировал его - как от метро найти Дом и войти в подъезд. –Только никого не спрашивайте - Дом полон стукачей” (Володя запомнил путь и посетил нас после освобождения летом 1953 года).

Значительно позже по Москве ходил стишок, приписываемый Льву Гумилеву : Чтобы нас охранять./
Надо многих нанять./ Это мало - чекистов,/ Карателей./
Стукачкй, палачей./ Надзирателей. Чтобы нас охранять./
Надо многих нанять. / И прежде всего Писателей. Все еще звучит злободневно...

В порядке расширения темы стихков советской эпохи надо отметить что многие из них гуляли и по Лаврушинскому. Известный чтец Сергей Балашов, обитатель нашего Дома, считал что Екатерина Фурцева не приглашала его на правительственные концерты в Кремль за стишок в честь очередного присвоения званий народного артиста СССР. Этот стих посвящен известному вопросу - от кого пользы или вреда меньше - от министра-

эрудита или министра-неуча. /От Чайки до Одесского Кичмана - дистанция большая /. Без обмана./ Примерно как от полюса до Турции или как от Луначарского до Фурцевой./ Конечно, эта тема интересовала и писателей в эпохи идеологов Щербакова-Маленкова-Жданова-Ильичева-Поликарпова-Верченко.

Автор подробно и часто с юмором описывает повседневную жизнь преуспевающего слоя советских писателей и их семей. Как маленькие новеллы звучат домашние застолья и посиделки, диспуты с портнихами, детские игры во дворе, ресторанные впечатления, Вместе с тем книга передает чувство страха, в котором постоянно жили писатели, их семьи, а часто и прислуга. Эти страницы написаны мастерски - рукою профессионального мемуариста (с большим интересом в той же книге я прочел повесть Никулиной «Жалинка-Малинка» о работе экскурсоводов иностранных туристов в Москве. Эта сфера жизни тех лет мало известна современному читателю и даже предыдущему поколению. А ведь экскурсоводы тех лет ежевечерне писали отчеты «в органы» о настроениях и высказываниях туристов).

Родители знали, что писателей, композиторов, архитекторов, артистов и так далее поселяли по профессиональному признаку вместе, наверное, чтобы легче было бы следить. Но кто именно «стучал», было секретом. Я несколько раз слышал, что со Львом Никулиным надо быть осторожным. И вот Ольга очень деликатно пишет о заданиях, которые во Франции выполнял ее отец по линии Иностранной Комиссии Союза Советских Писателей (ИК ССП) и даже идеологического отдела ЦК. Возникает вопрос - как научиться расшифровывать эту часто косвенную информацию. Не все же знают, даже теперь, что ИК ССП - это подразделение КГБ, ведь речь шла о встречах с иностранными писателями и сопровождении их в поездках

по СССР, в том числе об их присутствии на процессах 1936-1938 годов. Надо было «обработать» таких талантливых социал-либералов (мягко говоря) как Герберт Уэллс, Бернард Шоу, Лион Фейхтвангер, Анри Барбюс. И часто это удавалось, о чем свидетельствуют такие постыдные книги как "Москва 1937" Фейхтвангера и восторженный опус Анри Барбюса о Сталине.

... Семья тети Лены жила в квартире на первом этаже нашего подъезда. Сама тетя Лена работала лифтершей и уборщицей в нашем 2-ом подъезде, была понятой во время арестов и обысков. Тетя Лена рассказывала моей маме (Анне Зиновьевне) о слежке за писателями, особенно перед арестами. Из деликатности или от страха она не предупредила нашу семью о предстоящем аресте отца в марте 1949 года. Его вывели ночью, тетя Лена отпирала дверь в парадном, отец сказал «Прощайте, Лена». - «Еще придешь, до свидания».

Наша семья никогда не была богемной не только из-за вечного отсутствия денег. Этот нахально-самоуверенный тон и стиль, необходимость лгать во всем, низкая общая культура многих выдвинутцев отвращали нашу семью от общения с этим слоем общества. Поэтому, наверное, из-за страха и неприятия этих «ценностей» родители избегали посещений писательского клуба.

Теперь я хочу дополнить книгу и написать о жительнице дома - доносчице и об опыте раннего распознавания таких людей (так необходимым в России). Прошу прощения у читателей за нарушение законов жанра рецензии. Речь пойдет об Антонине Александровне Шаповаловой (1 подъезд, 2 этаж). Она была женой репрессированного очень популярного писателя Льва Овалова (автора детектива «Записки майора Пронина»), друга нашей семьи. Она сидела на Лубянке недели две летом 1942 года, но тщательно это скрывала. Да и обитателей Дома в этот период было мало - кто на фронте,

а кто в эвакуации. Видимо, в это время и была завербована. Мой отец перед уходом на фронт устроил ее в Совинформбюро и привил азы журналистики. И вдруг она сообщает отцу, приехавшему летом 1944 года с фронта после сильной контузии, что работает теперь в воссозданном журнале Московской Патриархии (ЖМП). Она присутствовала на приемах у Патриарха, рассказывала о том, что была отозвана из отпуска для участия во встрече с о священнослужителями из Америки и Англии.

В это время - перед концом войны - стала вновь ужесточаться сталинская политика в отношении церкви, приезжающие в Москву священники жаловались Патриарху и просили защиты. Домой они, как правило, не возвращались... Позднее отец схватится за голову: «Как же я не догадаюсь о новой роли Шаповаловой...»

...Сентябрь 1949 года, отец приговорен Особым Совещанием к 10 годам лагерей за "антисоветскую пропаганду и агитацию" (статья 58.10 УК РСФСР), мама и я получаем свидание с ним в Бутырской тюрьме перед этапом в Сибирь. Мы и отец разделены коридором - мы по одну сторону и за железными прутьями, отец по другую за проволочной сеткой. Солдат стоит около нашей ячейки, вслушивается. Стоит жуткий шум, плачут женщины, хлопают железные двери. Должен впервые публично признаться - мне до сих пор страшно стыдно за мое поведение. Отец поднял обе ладони - и растопырил все пальцы. Так он показал нам свой срок. С этого момента я стал плакать и не мог остановиться все свидание. Я и сейчас - спустя 65 лет - плачу, когда вспоминаю эту сцену. Кстати сказать - родители никогда не обсуждали со мной этот факт.

Папа продолжал: "Не одалживайте деньги у Антонины Александровны". Мама удивилась и сказала, что деньги пока есть. Отец строго: «Я вижу что вы не

понимаете меня, теперь хоть поняли?” Я маме сквозь слезы: —Я понял, потом тебе объясню”.

Кстати, писатель Константин Шильдкрет из 4-го подъезда (почему-то не упомянутый в книге Никулиной), который часто на улице разговаривал со мной, вычислил Шаповалову и сказал об этом мне, но я побоялся обсуждать с ним эту —новость”.

Лет 20 назад я знакомился на Лубянке с делом отца, что стало разрешаться только близким родственникам. И там обильно цитируется Шаповалова. Когда в 1954 году дело отца пересматривалось и его привезли из красноярского лагеря на Лубянку, все —информаторы” (официальный синоним слова стукач) отказались от прежних показаний, полученных под сильнейшим давлением. И только один человек их подтвердил - Шаповалова. Отец потребовал очной ставки. Но следователь сказал, что она сотрудник органов и в очных ставках не участвует.

Ольга Никулина старается уйти от упоминания осведомителей, обойдя даже всем известную сцену - Петр Павленко (жил в 3-м подъезде Дома) в шкафу в КГБ во время допроса Осипа Мандельштама.

К сожалению, в книге не упоминаются многие жившие в нашем Доме (арестованные в 37-м Ефим Пермитин и академик Иван Лупполл, крупный специалист по истории восстания декабристов Соломон Штрайх, купивший квартиру Всеволода Вишневского известный миллиардер Арманд Хаммер). Я пытался встретиться с ним и попросить его помощи в получении разрешения на выезд в США. К тому времени мы были в отказе 10 лет (по т.н. секретности). Но секретарь даже не взял заявления. Хаммер не хотел вмешиваться в подобные дела.

Ничего нет в книге о погромном критике-палаче Владимире Владимировиче Ермилове (по прозвищу

Ермишка), его статьи-приговоры в газетах означали конец мечтам о последующих публикациях.

Много внимания справедливо уделено Лидии Руслановой, с которой Никулины дружили (мой отец встретился с ней на этапе в пересыльной тюрьме в Куйбышеве, и каждый скорее всего машинально произнес одну и ту же фразу: —А вас-то за что?). Дети нашего подъезда очень любили Лидию Андреевну - ее довоенный муж популярный конферансье Михаил Гаркави и сосед поэт Иосиф Уткин еще до войны дарили нам шоколад в обмен на тишину на лестничной клетке. Наш старый лифт очень плохо работал, если дверь слабо прихлопывали. Очень часто - ночью, когда Русланова возвращалась после концерта, она не находила внизу кабину лифта и кричала во всю мощь своего голоса : "Лена, ...твою мать, - давай лифт"! Сонная тетя Лена тащилась вверх...

Большую работу проделала Ольга Никулина, кратко рассказав о большинстве жителей Дома писателей и об их дворне, как сказали бы много лет тому назад. Оля показывает в этих рассказах подлинную способность мемуариста. Книгу "Лаврушинский 17" можно рассматривать как заготовку для научной монографии об обитателях Дома, об интригах власти и ее рупоров. Много места уделено ресторанной жизни – оказывается, у многих были деньги и время для этого. Независимые писатели страдали от безденежья и нежелания кривить душой. В этой связи несколько теплых слов посвящено талантливому и несчастному, опустившемуся Юрию Карловичу Олеше. Помню, я увидел его на улице около Дома после операции аппендицита. —Нонимаете, врач сказал, что видел мою печень, и если я буду продолжать..., то... (ясно)". Очень колоритен и холоден барин Валентин Катаев...

Ольга избегает анализа творческого процесса, а ведь среди обитателей Дома были такие таланты и литературные гиганты как Борис Пастернак, Михаил

Пришвин, Константин Паустовский, Илья Эренбург, Вениамин Каверин, Всеволод и Вячеслав Ивановы, Эммануил Казакевич, Маргарита Алигер, Павел Антокольский, расстрелянный в 1952 году классик еврейской литературы Давид Бергельсон и многие другие. Очень нежно описана Анна Ахматова, обычно останавливавшаяся у Ардовых. в доме в ближайшем квартале Ордынки. Эта благороднейшая семья еще анонимно каждый месяц посылала деньги вдове погибшего Евгения Петрова. Несколько теплых фраз посвящено Александру Вертинскому.

На Доме несколько лет назад появилась первая мемориальная доска, посвященная замечательному критику и театроведу, одному из главных «жосмополитов» Иосифу Юзовскому. Власти засуетилтсь и воздвигли доску со следующей надписью (цитирую по памяти): **ДОМ ПИСАТЕЛЕЙ, ЗДЕСЬ В РАЗНЫЕ ГОДЫ ЖИЛИ ВЫДАЮЩИЕСЯ ПИСАТЕЛИ, УЧЕНЫЕ И ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ. ПОСТРОЕН АРХИТЕКТОРОМ И.Н. НИКОЛАЕВЫМ В 1936 ГОДУ.**

По-моему мнению, более бездушной и формальной мемориальной доски в Москве престо нет. Наверное, авторы хотели обойти некоторые психологические трудности восприятия соседства имен. Например. Пастернака и Первенцева, или Вс.Иванова и Чивилихина, Паустовского и Бубеннова и т.д. Может быть, авторы доски не знали, упоминать ли кагебешников, занявших квартиры репрессированных Руслановой, Станде, Кина и других . Я думаю, что надо упомянуть в алфавитном порядке всех писателей и артистов, живших в Доме. Я написал в Управу этого района Москвы и предложил собрать деньги со всех наследников для Доски, но прошло больше года - ответа я не получил. Где же российская традиция хотя бы посмертного прославления писателей и поэтов?

Завершают книгу Ольги Никулиной две замечательные мемуарные повести о жизни на подмосковных дачах.

...Не прошло и недели, как я увидел изданную В ТОМ ЖЕ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ В ТО ЖЕ ВРЕМЯ (почему-то нет полных выходных данных) книгу Андрея Тарасова "ЛАВРУШИНСКИЙ ВЕНОК В ЛИЦАХ И СТРАНИЦАХ". Этот том ЗАМЕЧАТЕЛЬНО дополняет книгу Никулиной, автор поражает эрудицией и замечательным проникновением в литературную жизнь 20 века. Книгу А. Тарасова можно смело назвать ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Я думаю польстить автору, сказав, что эта книга напоминает глубокие исследования Бенедикта Сарнова о взаимоотношении власти и искусства. Автор резок и строг в описании трагедий большинства погромщиков и агрессивных конформистов - от Фадеева и Федина до Тарасенкова и Вирты. Мне кажется, что в противоположность книге Никулиной работа Тарасова более беспощадна в оценке поведения людей. Лишь немногие позволяли себе исповедывать правило, которому следовал мой отец - мне можно не дать писать, но нельзя заставить меня писать неправду. Даже в нашем Доме были такие писатели! Эти две книги - памятник им! И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ !

Хочу также предложить потомкам писателей из Дома в Лаврушинском срочно написать, составить и издать сборник воспоминаний не только о предках, но и о себе.

Леонид Стонов – известный правозащитник, международный директор американской правозащитной организации Union of Councils, сын репрессированного писателя Дмитрия Стонова.

Живет в Чикаго. Автор нашего журнала.

АЛЕКСАНДР МАТЛИН

ОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕОНИДА ШПУЛЬМАНА В МОСКВЕ

Теперь уже никто не помнит, что побудило Лёню Шпульмана поехать в Россию. Не может вспомнить и сам Лёня. Конечно, не ностальгия. И, тем более, не служебные обязанности: Лёня работал клерком в небольшой бруклинской фирме, продававшей запчасти для холодильников. Скорее всего, это было любопытство, к которому подмешивалось затаённое желание побывать в среде, где все говорят по-русски.

Так или иначе, в один погожий день холодной ранней весной Лёня Шпульман, невзрачный шатен среднего роста, вышел из самолёта в аэропорту Шереметьево и осознал, что он находится в стране, где не был двадцать пять лет. Если учесть, что родители увезли Лёню из этой страны в трёхлетнем возрасте, то можно сказать, что никогда не был. Короче говоря, Лёня был самым обычным, заурядным американцем.

Но по-русски он говорил. Он впитал этот язык с детства. Он вырос в доме, где говорили только по-русски, и не просто говорили: русский язык там был культом, фетишем, божеством. Его охраняли, как государственный золотой запас. Дома детям категорически не разрешалось говорить по-английски или вставлять в русскую речь английские слова. Исковерканные на русский манер англицизмы, вроде таких, как «майлы», «паунды», «драйвать», и «шопать», считались уголовным преступлением.

Этот лингвистический террор продолжался до тех пор, пока Лёнина мама не ушла от Лёниного папы к своему боссу, нью-йоркскому адвокату с обаятельной улыбкой и крепкими политическими связями. Папа, в свою очередь,

ушёл, как полагается уходить папам, к секретарше. У секретарши не было политических связей, но зато было такие бёдра, что любой папа ушёл бы от любой мамы. Кто из Лёниных родителей от кого ушёл раньше, остаётся невыясненным, что, впрочем, не имеет никакого значения для нашего дальнейшего повествования.

К тому времени Лёня уже вырос, и развод родителей не сильно его расстроил. Правда, общаться по-русски стало не с кем. Но, как известно, всё, что мы постигаем в детстве, остаётся на всю жизнь. Так что, Лёня попрежнему мог говорить на грамматически безупречном русском языке, без тени акцента. Что его и сгубило. Но об этом позже.

Пока что, мы остановились на том, что он вышел из самолёта и вскоре закружился в вихре бурной московской жизни при содействии всевозможных двоюродных родственников и их друзей, которые немедленно стали Лёниными друзьями. Московская жизнь понравилась Лёне. Все хотели с ним дружить. Все рвались показывать ему Москву. Все звали в гости. Девушки источали сексуальную целенаправленность. Лёня купался в благодном тепле любви и внимания. Он никак не мог понять, почему его родители уехали из такой весёлой, высоко культурной страны, населенной такими милыми, доброжелательными молодыми людьми.

Особенно Лёне нравилось, что он, наконец, нашёл применение своему безупречному русскому языку. Он чувствовал себя своим среди своих. Так же, как все, он любил острить или рассказывать анекдоты по-русски, и это всегда встречалось восторженным ржанием. Сам он не всегда понимал шутки своих московских друзей; ему объясняли, почему это смешно, и он, поняв или сделав вид, что понял остроту, хохотал громче всех.

В этой культурно-массовой эйфории было одно обстоятельство, которое огорчало Лёню. Когда он оставался в городе один, без сопровождения своих

чудесных друзей, его почему-то переставали принимать за своего. Есть американская поговорка: если некое нечто ходит, как утка и крикает, как утка, значит это и есть утка. Поговорка оказалась обманом. Лёня одевался, как все, говорил, как все, но в нём всё равно видели иностранца. Каждый раз при покупке билета в музей или в театр повторялся примерно один и тот же диалог:

- Девушка, один билет, пожалуйста.
- Двести рублей.
- Почему двести, девушка? Билет стоит двадцать рублей.
- С иностранцев двести.
- Откуда вы знаете, что я иностранец? – обижался Лёня.

На этот вопрос он ни разу не получил ответа. Девушка, глядя в сторону, говорила с холодным отвращением:

- Гражданин, будете брать билет или нет? Если не будете, отойдите от кассы и не мешайте другим. Следующий!

Мучимый непостижимой загадкой, Лёня обратился за разъяснением к одному из своих двоюродных друзей, Митрофану Шварцману. Митрофан был вдумчивый матерщинник и философ, который не оставлял вопросов без ответа. Он подумал и сказал:

- Повтори точно, как ты просил билет.
- Девушка, один билет, пожалуйста, – повторил Лёня.
- Всё понятно: ты мудило, – поставил диагноз двоюродный Митрофан. – Забудь эти свои «пасибо» и «пожалуйста». Наши люди так не говорят. Это всё – ваши американские лицемерные деепричастия.
- Не деепричастия, а вводные слова – поправил Лёня.
- Вводи их себе в жопу, – посоветовал Митрофан. – А у нас говори, как все.
- Как? Просто сказать «один билет» и всё? Без «пожалуйста»?

– «Билет» тоже не надо говорить. Она и так знает, что ты покупаешь билет, а не гондон. Скажи коротко: «один». Понял?

В следующий раз Лёня последовал инструкции своего друга, но это не помогло. За исключением первой фразы, которая, по совету Митрофана, состояла из слова «один», весь диалог с кассиршей повторился слово в слово:

- Один.
- Двести рублей.
- Почему двести?
- С иностранцев двести.

И так далее. В отчаянии Лёня снова позвонил Митрофану. На этот раз Митрофан думал ещё дольше. Наконец, он сказал:

- Вспомни: ты улыбался, когда просил билет?
- Наверно, улыбался. Что она мне – враг?
- Ну, конечно, – сказал Митрофан. – Я был прав: ты мудило. Это известно, что пиндосы всё время улыбаются своими фальшивыми улыбками. Но мы не пиндосы. У нас люди прямые и искренние. Они зря улыбаться не будут. Я, например, могу улыбнуться девушке, только если я собираюсь её трахнуть.

Теперь, вооружённый знанием местных обычаев, Лёня отправился в заветную Третьяковку. Он подошёл к кассе, швырнул на прилавок двадцать рублей и сказал сквозь зубы, вкладывая в свои слова как можно больше ненависти:

- Один.
- Двести рублей, – сказала девушка. – С иностранцев двести.

– Что-о? – взревел вежливый Лёня, для которого рушилась его последняя надежда. – Я, бля, тебе покажу, какой я иностранец!

Девушка побледнела.

– Ох, извините, пожалуйста – замурыкала она с милой улыбкой. – Знаете, мне показалось, что у вас взгляд

какой-то такой... не наш. Теперь я вижу, что ошиблась. Двадцать рублей, пожалуйста.

Вечером Лёня праздновал победу в кругу своих новых друзей.

– Ты молодец – говорил пьяный Митрофан, хлопая Лёню по затылку. – Ты наш. Хороший парень, хоть и пиндос. Давай ещё по одной, под осетринку. Осетринка – класс, особенно с хреном. У вас в Америке такую хрен купишь.

На следующий день у Лёни заболел живот. Сначала чуть-чуть, потом сильнее. К вечеру стало совсем плохо. Всю ночь Лёню рвало. Наутро Митрофан отвёз его в поликлинику.

– Смотри, не проболтайся, что ты иностранец, – по дороге наставлял он Лёню. – Три шкуры сдерут. Дай им мой адрес, скажи, что забыл паспорт дома, и работай под своего, понял?

Унылая блондинка в регистратуре поликлиники задала Лёне два десятка вопросов, на которые он ответил с безукоризненной точностью. Под конец она спросила:

– Какой у вас рост?

На что Лёня гордо сказал:

– Пять футов семь дюймов.

Он был горд не своим ростом, а знанием настоящих русских слов. Не то, что какой-нибудь полуграмотный иммигрант, который, конечно же, сказал бы «нять фитов и семь инчей», что сразу бы выдало в нём иностранца.

– Чего, чего? – переспросила регистраторша.

– Пять футов семь дюймов – повторил Лёня на правильном русском языке.

Лицо регистраторши выразило испуг и растерянность. Она сказала:

– Посидите минуточку.

Она ушла и вскоре вернулась в сопровождении крупного мужчины с руководящим лицом и при галстуке.

– Господин Шпульман? – сказал мужчина, обращаясь к Лёне ласково, как к больному. – Очень приятно. Какое у вас постоянное место жительства?

– Москва, – соврал Лёня и без запинки назвал адрес своего друга Митрофана.

– Ну, хорошо, допустим. А какой у вас рост?

– Пять футов семь дюймов.

– Так, так. Посидите минуточку.

Руководящий мужчина вернулся к себе в кабинет, оставив Лёню в приёмной ждать врача. Спустя десять минут, в приёмную вошли двое в форме полицейских. Лёнин папа рассказывал, что в прежние времена они назывались милиционерами. Как они теперь называются, папа не знал, но советовал Лёне на всякий случай держаться от них подальше.

– Этот? – спросил один из милиционеров, показывая на Лёню.

– Этот, – подтвердила регистраторша.

– Ага. Ну, здравствуйте, гражданин Шпулькин.

– Здравствуйте – сказал Лёня, не понимая, почему в России людей лечит полиция.

– Пройдёмте с нами в отделение.

– У меня болит живот, – пожаловался Лёня.

– Ничего, у нас быстро пройдёт, – заверили милиционеры.

В отделении пахло человеческими испарениями и ещё чем-то прелым, похожим на осетрину, которой угощал Лёню Митрофан. Лёню усадили на стул, обитый потрескавшейся чёрной кожей, из-под которой выбивалась вата. Один из милиционеров, тот, кто постарше, сел за стол напротив и сказал:

– Покажь паспорт.

– Не покажь, а покажи, – грамотно поправил Лёня. – Я его забыл дома.

– Ты, грамотей, по какому адресу проживаешь?

Лёня назвал адрес Митрофана. Милиционер подвинул к себе телефон, куда-то позвонил и что-то записал.

– Значит так – сказал он, и в голосе его звучала гробовая тяжесть. – Никакой Шпулькин по этому адресу не прописан. Говори, откуда приехал. Будешь врать – живым отсюда не выйдешь, понял?

От страха у Лёни перехватило дыхание, и прошла боль в животе. Он сказал сдавленно:

– Из Америки.

– Что ты делал в Америке?

– Жил, – сказал Лёня и, на всякий случай, добавил дрожащим шопотом: – Я больше не буду!

– Ага! Американец, значит!

Милиционеры переглянулись и явно повеселели.

– Всё ясно: шпион, – победно объявил старый.

– Ну да, шпион и есть – с энтузиазмом поддержал его молодой.

– Я не шпион! – застонал Лёня. – У меня болит живот!

– Сейчас передадим тебя, куда следует – заверил его старый, смакуя ситуацию. – Там быстро разберутся, что у тебя болит. Получишь десяточку строгого, чтоб впредь не шпионил против нашего народа.

Лёня не знал, что такое десяточка строгого, но догадался, что это должно быть нечто крайне непривлекательное. Эта догадка пронзила его воспалённый мозг, и он разрыдался, отчего ликование милиционеров достигло предела.

– Ну что, может, пожалеем? – сказал старый.

– Пожалеем, – согласился молодой.

– Правильно. Пусть платит штраф и валит в свою Америку. Сколько у нас за шпионаж полагается?

– Две тысячи рублей, – с готовностью ляпнул молодой. Он был ещё слишком молод, чтобы постигнуть глубокий смысл денег.

– Правильно, – сказал старый. – Только не рублей, а долларов. Плюс пятьсот за то, что ходит без паспорта. В

общем, так, Шпулькин: плати, три тысячи и не беспокойся. Я выпишу квитанцию. У нас всё по закону, не то, что в вашей Америке.

Размер штрафа слегка ошарашил Лёню. Вся его поездка в Россию не стоила таких денег. Платить было нечем.

– Кредитную карточку возьмёте? – заискивающе спросил он.

Старый милиционер пожал плечами.

– Давай, если не нужна. Но сначала заплати штраф.

– У меня нет таких денег, – заныл Лёня.

– Звони своим родственникам, пусть привезут.

Лёня позвонил Митрофану, которого к тому времени считал своим лучшим другом. Услышав про три тысячи долларов, Митрофан по дружбе обложил Лёню таким матом, какого Лёня никогда не слышал и не мог понять, несмотря на своё безупречное знание языка.

– Пиндос и есть пиндос, – подвёл итог Митрофан. Сам заварил, сам и расхлёбывай. А у меня нет денег.

– Я ничего не заваривал, – ныл Лёня. – Они думают, что я шпион.

При слове «шпион» Митрофан испугался так, что от страха перестал материться. Он прешёл на «вы», вежливо попросил Лёню больше не звонить и повесил трубку. Лёня попытался сделать ещё несколько звонков своим новым московским друзьям, но это приводило к такому же результату.

– Ненадолго, взймы! – взывал Лёня. – Я вышлю, как только вернусь домой!

При упоминании о деньгах друзья грустнели и заводили разговор о живописи или драматическом искусстве. Когда Лёня жаловался им, что его подозревают в шпионаже, они пугались и спешили закончить разговор. Потом друзья вообще перестали отвечать на Лёнины звонки. Видимо, разошёлся слух об их знакомом

придурковатом американце, который оказался шпионом и при этом у всех вымогает деньги.

Лёня остался в вакууме, если не считать двух милиционеров. Но и тем надоело заниматься Лёниным воспитыванием; они занялись своими делами и перестали обращать на него внимание. Мучительно потекло время и тянулось до тех пор, пока в Нью-Йорке не наступило утро, и Лёня смог, наконец, позвонить маме.

Узнав о Лёниных приключениях, мама впала в истерику и немедленно задействовала своего политически влиятельного супруга. Супруг позвонил всем своим политически влиятельным знакомым. В результате пошёл звонок из госдепартамента США в американское посольство в Москве, а оттуда – далее, по должным российским каналам. Но к тому времени в Москве кончился рабочий день. Должные каналы перестали отвечать на звонки, и бедный Лёня застрял в отделении милиции до утра.

Мы не будем пытаться передать состояние нашего несчастного героя в течение этой жуткой ночи или описывать обстановку, в которой он провёл эту ночь. Вы, мой дорогой искушённый читатель, если даже сами никогда не проводили ночь в московском отделении милиции, наверняка можете себе эту обстановку представить, и, стало быть, незачем зря тратить ваше время.

Утром вернулись на работу два знакомых Лёне милиционера. Они поинтересовались, раздобыл ли их подопечный деньги на штраф, и снова занялись своими делами. И бедный Лёня понял, что его песенка спета, и что он уже никогда отсюда не выйдет, и что пора подводить итоги своей глупой, непродолжительной жизни.

Но я вас должен успокоить, дорогой читатель. Лёнины мучения продолжались до тех пор, пока в отделении милиции не раздался спасительный телефонный звонок. Этот звонок завершил целую эстафету звонков, которая

началась накануне вечером в американском посольстве и пронеслась по Москве через несколько важных правительственных организаций, отвлекая важных людей от их важных дел. Никто из этих важных людей не мог понять, почему их важных абонентов интересует какой-то совершенно неприметный американский турист, и поспешили от этого ничтожного туриста избавиться.

Коротко поговорив по телефону, старый милиционер положил перед Лёней его кошелек с кредитной карточкой и водительскими правами штата Нью-Джерси.

– Можешь идти, грамотей, – сказал он, и Лёня, не веря своему счастью, пулей вылетел на улицу.

В тот же день он успел на прямой рейс “Дельты” из Москвы в Нью-Йорк. Вдавившись в спинку кресла, он сидел в самолёте с закрытыми глазами и боялся шевелиться, пока самолёт не вышел на взлётную полосу.

– Что, первый раз едете в Америку? – услышал он приветливый голос сидевшей рядом блондинки.

Лёня вздрогнул и, не открывая глаз, пробормотал:
– Sorry, I don't speak Russian.

Александр Матлин по специальности инженер-строитель, специалист по морским портам. В этом качестве проработал почти 40 лет в США. Его сатирическое перо хорошо известно читателям в Америке и ряде других стран. В последние годы он печатается в сетевых журналах “Заметки по еврейской истории” и “Семь искусств”, в еженедельниках — “Паврама” (Лос-Анджелес), “Еврейский мир” (Нью-Йорк), “Наша Канада” (Торонто).

В 2010 году в московском издательстве “Вагриус” вышла его книга “На троих с ЦРУ” – полное собрание рассказов и стихов. В апреле 2014 в Нью-Йорке в издательстве MIR Collection вышла еще одна книга его рассказов — “24”.

Автор обложки

МИХАИЛ ТУРОВСКИЙ: “Сделать людей лучше не суждено никому...”

В самом центре Манхэттена, в двух шагах от Центральной Библиотеки, на Пятой авеню, в апреле торжественно открылась уникальная международная выставка живописи и фотографий "Stand with Ukraine".

Выставка – интернациональная. Для ее организаторов было неважно, кто ты по происхождению и откуда, если ты поддерживаешь Украину. Ведь то, что там сейчас происходит, касается всех. И то как будут развиваться события в Украине, от действий мирового сообщества, от людей, живущих в России и других странах, зависит не только будущее Украины, зависит путь, по которому пойдет весь мир.

Как написано в афише, "Достоинство и самопожертвование, надежда и отчаяние, героизм и отвага, несправедливость, ложь и горе – все, о чём болит душа и чем живёт Украина – в картинах и фотографиях, представленных в экспозиции интернациональной выставки "Stand with Ukraine".

В выставке принял участие замечательный американско-украинский художник Михаил Туровский. Его имя хорошо известно в мире, он академик Украинской академии изобразительных искусств, участник множества международных выставок, автор неповторимой по силе серии картин "Холокост" (За эти работы художник стал победителем первого конкурса «Человек года русскоязычной Америки»).

Туровский – художник-философ, его работы интересны глубоким осмыслением человеческой жизни вне времени и пространства, с её неизменными на протяжении веков ценностями, трагедиями, душевными взлётами, страданиями и любовью. Картины Туровского

пронзительно эмоциональны – они передают боль и сострадание художника к людям, оказавшимся между жерновами войны. Война уродлива и ужасна, она калечит людей не только физически. Но борьба неизбежна, если ты хочешь выиграть в схватке с ложью и агрессией и сохранить свои достоинство и независимость.

Михаил Туровский родился в 1933 году в Киеве. В 1960 окончил Киевский художественный институт, в 1965 был принят в творческую аспирантуру Академии искусств СССР. С 1962 – член Союза художников СССР. С 24 лет он участник многочисленных выставок в Киеве, в Москве, за рубежом.

В 1979 году Михаил с семьей эмигрирует в США, живет в Нью-Йорке. Он становится известен не только в США и на своей бывшей родине, но и во всем мире. Его работы находятся в постоянных коллекциях музеев, в частных собраниях. Нью-Йорк, Иерусалим, Париж, Женева, Брюссель, Мадрид, Венеция...

Цикл "Холокост" – быть может, вершина творчества Туровского. Кажется, он нашел тонкий баланс между судьбой всего человечества и еврейского народа, между болью и страданием всего мира и "племенем еврейским".

Ниже – фрагменты недавнего интервью художника.

– Какое место занимает еврейская тема и тема Катастрофы в Вашем творчестве?

– Это не всеобъемлющая тема. Я думаю, что мой "Холокост" – это часть моего мироощущения в целом, а не только тема моих соплеменников в том смысле, что я оказался современником этого феномена, который называется "геноцид" человечества по отношению к одному народу. И вместе с тем это гонения на меня самого, потому что я состою из этих людей (не только потому, что я еврей, я чувствую свое иудейство каким-то другим

образом). Может быть потому, что мне на него указали. Я органично принимаю главные для всех народов постулаты: не причинять человеку того, чего не желаешь себе, например...

Тема моего цикла очень похожа на тему, проходящую через всю историю мирового искусства: игра в смерть, которая кончается не победой, а смертью, для одних – насильственной, для других – естественной.

Это не уничтожение только моего народа, это несчастье всего человечества – до последнего своего дня уничтожать себе подобных. К сожалению, жизнь этого цикла только началась, хотя я создал его 10 лет назад и показывал в Иерусалиме в музее "Яд Вашем", в Нью-Йорке, в Брюсселе, в Париже. Тема эта острая и болезненная. Человечество расплачивается такими несчастьями, ежеминутно происходящими на Земле, что тема убийства 6 миллионов людей может показаться не такой уж страшной потому, что завтра могут убить 80 миллионов, и тогда 6 миллионов окажутся маленькой цифрой, а потом от убийства или какого-то гигантского взрыва погибнет половина человечества, и тогда 80 миллионов станут каплей. Трагедий было, есть и будет множество. Но для чего нужны художественные воплощения трагедий? Я не знаю, ведь человечество нельзя ни от чего остановить. Оно обречено. Родившийся человек родил себе подобных – у Адама было двое детей, Каин и Авель, и второй сын убил первого.

– Ваш "Холокост" монохромный, это не случайно? Можно вспомнить психологию восприятия цвета... плюс это еще и некий художественный прием?

– Люди, которые обречены, перестают видеть цвет. Не может быть цвета, если знаешь, что обречен на смерть. Человек обреченный перестает видеть, что небо голубое, что трава зеленая, он перестает существовать в цвете, перестает чувствовать запахи. Он охвачен ужасом. Это естественное состояние. Поэтому без цвета люди в каком-

то пространстве уничтожаются. Я не знаю, что я хочу вызвать. Если вызываю жалость, мне уже противно. Я хочу вызвать чувственный восторг от искусства. Когда я смотрю на "Страшный суд" Микеланджело, мне не так страшно оказаться в среде тысяч этих падающих фигур Сикстинской капеллы, так я взволнован величием человека, погрузившего меня в такое состояние. А повлиять на людей, сделать их лучше – это не суждено никому. Новые люди будут уничтожать сами себя. Человечеству свойственна самоубийственность, потому что природа не предусмотрела мыслящее существо.

– **Сталкивались ли вы сами с каким-то особым, ярким проявлением антисемитизма?**

– Самое яркое - во взаимоотношениях с самим собой(смеется).

– **Такое борение происходит?**

– Да, борение. Самого яркого проявления не было.

Все это внешнее.

В 41-м мы бежали на Кубань, выжили и оказались в кубанской станице. Всем взрослым надо было сдать паспорта в сельсовет, и моя мать в числе других тоже сдала. Вдруг в хату, где мы остановились, прибежала хозяйка и говорит моей матери: "А ну, снимай туфли!" И моя мать сняла башмаки, и эта крестьянка кубанская (24-й год советской власти) воскликнула: "Фу!"

Она была уверена, что у жидов копыта. Это яркое. Что еще... Стреляли по мне немцы из автомата, а я сидел в камышах около станицы по шею, по глаза в воде сидел. Это была война. И не только война, потому что не был бы я евреем, не оказался бы по шею в воде.

Когда я не поступил в институт, это было уже не очень болезненно, меня предупреждали. Дочка директора художественного института, моя подруга, говорила: "Миша, в этом году, папа сказал, евреев опять принимать в институт не будут, – уезжай". Мог ли я обвинять в антисемитизме мою любимую школьную подругу? Нет,

она ко мне хорошо отнеслась, она меня предупредила. Были ли ее папа антисемитом? Нет, ведь он получил откуда-то сверху спущенную инструкцию. Я в душе уже лет 20 свободен. У меня притупились чувства обиды и горечи. Просто привык к свободе.

– Ваш отъезд в 1979 году в Штаты это в первую очередь творческий шаг или политический?

– Это все вместе: и творческий, и политический, и личностный, и непонятный – хотелось спасти своих детей от рабства, от национальной несправедливости, хотелось свободы, которой мы все были лишены, хотелось увидеть мир, который нам всем не показывали, что-то сделать.

Хотелось свободы, а свобода – это страшная вещь, ей надо уметь пользоваться. Это прежде всего неизвестность. Человек, который выбирает свободу, – это почти что самоубийца – он может погибнуть значительно раньше, потому что теряет привычную среду обитания. Недавно получил письмо от одного человека, пианиста, он в Париже оказался. Через 15 лет он написал, что среда обитания выше всех свобод, какие возможны, то есть он, живя в Париже, все время жил мысленно в Киеве. У меня так не произошло, не знаю, почему. Может, потому, что семья оказалась рядом, был очень занят, жить было не на что. Надо было работать, некогда было концентрироваться на этом. Постепенно как-то научился жить в США, как надо было жить в этой ситуации. Я не знаю даже, научился ли. Просто живу.

Наташа Гольдина

**На обложке журнала – картина Михаила Туровского
“Еврейские новобрачные”**